ВИКТОР
НЕКРАСОВ

# ВАСЯ КОНАКОВ

☆

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
СОЮЗА ССР


ВИКТОР



НЕКРАСОВ

# ВАСЯ КОНАКОВ

РАССКАЗЫ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА—1961

Виктор Платонович Некрасов родился в 1911 г. в Киеве, в семье врача. По образованию архитектор, но в этой области работал недолго. Одновременно с институтом окончил театральную студию и в течение четырех лет работал актером и театральным художником в театрах Владивостока, Кирова, Ростова-на-Дону.

С 1941 по 1944 г. был на фронте полковым инженером и заместителем командира саперного батальона. После ранения в начале 1945 г. был демобилизован.

Некоторое время работал журналистом. В 1946 г. вышла первая повесть «В окопах Сталинграда», удостоенная Сталинской премии. Вторая повесть «В родном городе» опубликована в 1954 г. Зарубежным впечатлениям посвящен очерк «Первое знакомство», напечатанный в журнале «Новый мир» в 1957 г.

Публикуемые в этом сборнике рассказы печатались в разное время в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Советская Украина».



## ВАСЯ КОНАКОВ

Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. Участок его обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой

в течение всех пяти месяцев шли наиболее ожесточенные бои.

Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищенный, а главное, с отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. Днем пятая рота была фактически отрезана от остального полка. Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. Все это очень осложняло оборону участка. Надо было что-то предпринимать. И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. Расстояние между ними было небольшое — метров двадцать, не больше, но кусочек этот был так пристрелян немецкими снайперами, что перебежать его днем было просто немыслимо. В довершение всего стоял декабрь, грунт промерз, и лопатами и кирками с ним ничего нельзя было поделать. Надо было взрывать.

И вот тогда-то — я был в то время полковым инженером — мы и познакомились с Конаковым, а позднее даже и сдружились. До этого мы только изредка встречались на совещаниях у командира полка да во время ночных проверок обороны. Обычно он больше молчал, в лучшем случае вставлял какую-нибудь односложную фразу, и впечатления о нем у меня как-то не складывалось никакого.

Однажды ночью он явился ко мне в землянку. С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. Смуглый кудрявый парень, с густыми черными бровями и неожиданно голубыми, при общей его черноте, глазами. Просидел он

у меня недолго — выкурил цигарку, погрелся у печки и под конец попросил немного толу — «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чертов грунт сломал».

— Ладно, — сказал я. — Присылай солдат, дам сколько надо.

— Солдат? — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. — Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперед. Давай мне, сам понесу.— И он вытащил из-за пазухи здоровенный мешок.

На следующую ночь он опять пришел, потом его старшина, потом опять он.

— Ну, как дела? — спрашивал я.

— Да ничего. Работаем понемножку. С рабочей-то силой не очень, сам знаешь.

С рабочей и вообще с какой-либо силой у нас тогда действительно было «не очень». В батальонах было по двадцать — тридцать активных штыков, а в других полках, говоряг, и того меньше. Но что подразумевал Конаков, когда говорил о своей роте, я понял только несколько дней спустя, когда попал к нему в роту вместе с поверяющим из штаба дивизии капитаном.

Последний раз, когда я там был — это было недели полторы тому назад, — я с довольно-таки неприятным ощущением на душе перебегал эти проклятые двадцать метров, отделявшие окопы от насыпи, хотя была ночь и между ракетами было все-таки по две — три минуты темноты.

Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулеметы и полковая «сорокапятка», шел не

очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят, не больше, но по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой.

Конакова в его блиндаже мы не застали. На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел старшина. В углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист.

— А где командир роты?

— Там... — куда-то в пространство неопределенно кивнул головой связист. — Позвать?

— Позвать.

— Подержите тогда трубку.

Вскоре он вернулся вместе с Конаковым.

— Здорово, инженер. В гости к нам пожаловали? — Он снял через голову автомат и стал расталкивать храпевшего старшину. — Подымайся, друг, прогуляйся малость.

Старшина растерянно заморгал глазами, вытер рукой рот.

— Что, пора уже?

— Пора, пора. Протирай глаза и топай.

Старшина торопливо сунул руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. Мы с капитаном уселись у печки.

— Ну как? — спросил он, чтобы с чего-нибудь начать.

— Да ничего. — Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. — Воюем помаленьку.

— И успешно?

— Да как сказать... Сейчас вот фриц утих, а днем, поганец, два раза совался.

— И отбили?

— Как видите, — он слегка замялся. — С людьми вот только беда...

— Ну, с людьми везде туго, — привычной для того времени фразой ответил капитан и засмеялся. — За счет количества нужно качеством брать.

Конаков ничего не ответил. Потянулся за автоматом.

— Пойдем, что ли, по передовой пройдемся?

Мы вышли.

И тут выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два ручных пулемета на флангах — одним словом, все то, чему и положено быть на передовой. Не было только одного — не было солдат. На всем протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. Только старшину. Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам.

Потом уже, много месяцев спустя, когда война в Сталинграде кончилась и мы, в ожидании нового наступления, отдыхали и накапливали силы, уже на Украине, под Купянском, Конаков рассказывал мне об этих днях.

— Трудновато было, что и говорить. Сам удивляюсь, откуда нервы взялись... Тогда еще,

когда ход сообщения рыли, в роте было человек шесть бойцов. Потом один за другим все вышли из строя. Немец каждый день по три — четыре раза в атаку ходит, а пополнения нет. Что хочешь, то и делай. Звоню комбату, а он что? — сам солдат не родит. Жди, говорит, обещают со дня на день подкинуть. Вот мы и ждали — я, старшина и пацан связист Сысоев. Сысоев на телефоне, а мы со старшиной по очереди на передовой. Постреливаем понемножку, немцев дурачим, пусть думают, что нас много. А как атака... Ну, тут нас пулеметчики и артиллеристы вывозили. На насыпи, под вагонами, два станковых стояли и одна «сорокапятка». Сейчас вот вспоминаешь, улыбаешься только, а тогда... Ей-богу, когда старшина с берега приходил с обедом, расцеловать его готов был. А когда через три дня пять человек пополнения дали, ну, тогда уж ничего не страшно было.

Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. На Донце я был ранен. Когда вернулся, Конакова в полку уже не было — тоже был ранен и эвакуирован в тыл. Где он сейчас — не знаю. Но когда вспоминаю его — большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой, когда думаю о том, что этот человек вдвоем со старшиной отбивал по нескольку атак в день и называл это только «трудновато было», — мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и рядом с такими людьми, как Конаков, не страшен никакой враг.



## СЕНЬКА

1

В первой половине дня Сенька кое-как еще держал себя в руках, но, когда после небольшого перерыва самолеты стали заходить не только со стороны солнца, а сразу со всех четырех сторон, он почувствовал, что больше не может.

Тело дрожало мелкой противной дрожью, и, если он чуть-чуть ослаблял челюсти, зубы начинали стучать друг о друга совсем так, как это было, когда он болел малярией. В животе что-то замирало. Во рту было сухо и горько от табачного дыма. Утром у него был еще полный мешочек табаку, сейчас осталась одна пыль — трехдневную норму он искурил за полдня.

«На две штуки осталось, — подумал Сенька, насыпая смешавшуюся с хлебными крошками пыль на бумажку, — а потом...»

Но он так и не успел додумать, что случится потом. Целая куча («Штук сто», — мелькнуло у Сеньки в голове) самолетов с красными лапами стала пикировать прямо на него. Он выронил мешочек, бумажку, засунул голову меж колен, стиснул зубы и, крепко зажмурив глаза, сидел так, пока не прекратились взрывы. Потом осторожно приоткрыл глаза и высунул голову из щели. Сквозь несущийся куда-то влево дым мелькнуло черное крыло самолета с черным крестом. Сенька опять закрыл глаза. Но ничего не случилось. Самолет улетел.

«Господи боже мой... Да что же это такое... Господи боже мой...»

Сенька стал искать бумажку, потом мешочек с табаком, потом скрутил цигарку, но пальцы дрожали, табак рассыпался, и цигарка получилась тоненькая и жалкая.

Мимо прополз Титков — пулеметчик второго взвода. Лицо у него было все мокрое, с прилипшей ко лбу и щекам землей. Правая рука болталась, как тряпка, и волочилась по земле.

Он на минутку задержался у Сенькиной щели, затянулся его цигаркой и пополз дальше.

«Отвоевался», — подумал Сенька, и ему сразу представилось, как Шура-санинструкторша перевязывает Титкову руку, как трясется он на подводе в медсанбат, как лежит там на соломе.

Над рощей опять появились самолеты. Проходившие мимо Сенькиной щели какие-то бойцы, увидав самолеты, рассыпались во все стороны. Кто-то тяжелый и горячий вскочил прямо на Сеньку и прижал его к земле.

Бомбы рвались долго, совсем рядом, а когда перестали рваться, Сенька попытался разогнуться. Но тяжелое лежало на нем и не хотело сползать. Сенька выругался, но тяжелое все лежало. Он уперся руками в землю и свалил тяжелое в сторону. Здоровенный боец в расстегнутой, совершенно мокрой от пота гимнастерке лежал рядом и смотрел на Сеньку остановившимися, немигающими глазами. Сеньке стало страшно.

Вчера, когда они на машинах ехали на передовую, он видел только лошадей — вздутых, с раскоряченными ногами, лошадей, валявшихся на дороге. Людей, вероятно, убрали. А вот этот лежал совсем рядом, большой, теплый еще... И рука за голову закинута.

Мимо щели один за другим, обвешанные минами и котелками, согнувшись, волоча за собой пулеметы, перебегали бойцы. Самолеты делали второй заход.

«Опять, сволочи...»

Грохот укатился куда-то в сторону. Густая, удушливая пыль стелилась по земле. Ничего

не было видно: ни неба, ни рощи — ничего, только тускло поблескивал затыльник винтовки на бруствере. Сенька со злобой посмотрел на нее.

«Палка», — подумал он и протянул к винтовке руку.

Он не принимал никакого решения, он просто снял винтовку с бруствера, зажал ее меж колен, взвел курок, положил руку на дуло, зажмурил глаза и нажал крючок.

Он не услыхал выстрела. Что-то сильно толкнуло и обожгло ладонь. И сразу все тело охватила слабость. Пальцы беспомощно повисли. Тоненькими ручейками по ним текла кровь и капала на штанину. Большое красное пятно расплывалось по колену.

Кто-то крикнул над самым ухом:

— Какого черта стреляешь, дурья голова!

Сенька поднял голову. Перед ним сидел командир взвода.

Сенька безразлично посмотрел на него, потом на руку, потом опять на него. Лейтенант, кажется, что-то кричал, но Сенька ничего не слышал. Он смотрел на серое от пыли, небритое лицо, видел, как шевелятся губы, блестят злые, колючие глаза, но слов не слышал. Он знал только одно: сейчас он вылезет из этой щели и пойдет туда, назад, к речке, где нет самолетов, нет этого бойца с остановившимися глазами, нет всего этого... И он сидел и слушал и ничего не говорил, а потом — он даже не помнит, лейтенант ли ему приказал, или сам так решил, — напялил скатку, затянул и перекинул через плечо мешок и, опершись о

винтовку, вылез из щели. Боли в руке не чувствовал никакой.

Откуда-то появился младший сержант — Сенька забыл его фамилию. Сидел тут же на корточках.

— Отведешь его к командиру роты, а потом в медсанбат.

Младший сержант что-то ответил и ткнул Сеньку в бок прикладом автомата.

— Пошли...

И они пошли — он и младший сержант.

Командира роты не застали, а заместитель по строевой приказал прямо в медсанбат вести — там уж знают, что с такими делать.

— Пристрелил бы на месте, да патрона жалко...

Только когда они отошли шагов на сто, содержание этой фразы дошло до Сенькиного мозга. Он обернулся, но лейтенанта уже не было. Они пошли дальше. Впереди маячили телеграфные столбы с оборванными проводами.

## 2

В медсанбате, у большой, забросанной ветками палатки, толпились бойцы. Лежали, сидели, просто так слонялись. Забегали и выбегали из палатки сестры в грязных пятнистых халатах. Большие крытые машины пятились и урчали вокруг палаток. Двое бойцов без рубашек, ругаясь, выносили и клали на машины носилки с ранеными. Раненые молчали и с тревогой смотрели на небо. Там, над передовой — отсюда до нее было километров шесть — семь, — опять пикировали самолеты. Самой

передовой не было видно — мешал кустарник, но распускавшиеся над ней букеты разрывов были видны отчетливо, и Сенька почувствовал, как поползли мурашки у него по спине. Он отвернулся и стал смотреть на машину, которую грузили.

Младший сержант сидел рядом и молча курил. За всю дорогу он не сказал ни слова. Сеньке хотелось попросить у него закурить, но он не решился.

«Откажет, должно быть», — подумал он и проглотил слюну.

Мимо пробежал маленький черненький человечек в халате и больших круглых очках. Он приостановился на секунду и торопливо, не глядя, бросил:

— Леворучник?

— Леворучник, — ответил младший сержант и встал.

— Давай сюда... — и человек в очках забежал в палатку.

В палатке было душно и пахло чем-то резким и неприятным. Вдоль стен сидели раненые бойцы. Посредине стояло два белых стола, покрытых клеенкой. На одном лежал боец с закинутой назад головой. Был виден только шершавый, небритый подбородок. Боец тихо, монотонно стонал. Одной ноги у него не было, а вместо нее было что-то красное, с завернутой кожей и куском торчащей кости.

Высокий человек, тоже в халате, наклонившись, ковырялся в этом красном чем-то очень блестящим.

«Господи... — подумал Сенька, — что же

это такое?..» — и почувствовал, что его начинает тошнить.

— Рубашку скинь... и сюда садись...

Маленький в очках коленом пододвинул табуретку. Сенька с трудом — левая рука стала тяжелая и неповоротливая, хотя и не болела совсем, — снял через голову скатку, потом стал стягивать гимнастерку и нательную рубаху. Рука никак не вытягивалась и путалась в рукаве.

«И зачем это? — подумал Сенька. — Ведь у меня все цело, рука только... А он рубаху заставляет...»

— На табуретку садись. Сколько раз говорить надо.

Сенька сел и положил руку на колено ладонью кверху. Кровь перестала идти, но где, собственно говоря, рана, он так и не мог понять — все залепилось, покрылось грязью.

— Сколько лет? — спросил маленький в очках, должно быть доктор.

Сенька не понял, о чем его спросили.

— Ну, какого года?

— Я? С двадцать четвертого, — нерешительно ответил Сенька.

— Двадцать четвертого, а как бык здоровый, — сказал доктор и пощупал тугие Сенькины бицепсы. — И не стыдно тебе?

Сенька ничего не ответил.

— Одной рукой двух фрицев задушишь, а ты вместо того... — Доктор не договорил и быстрым движением ущипнул Сеньку за живот, оттянул кожу и всадил в нее большую иглу с чем-то стеклянным посредине. Сенька вздрогнул, но не от боли, а от неожиданности.

Потом доктор мокрой ваткой долго мыл его ладонь, и это уже было больно. Потом кому-то не оборачиваясь крикнул: «Сухо...» — И сестра в блестящих щипчиках принесла бинт, и доктор туго обмотал ладонь.

— Все... Одевайся.

Сенька натянул рубаху, гимнастерку и, не зная, можно ли садиться на табуретку, отошел немножко в сторону и стал смотреть, как со стола снимают раненого без ноги.

— Ну, чего тебе еще?

Доктор снизу вверх смотрел на него, и Сеньке стало вдруг неловко.

— Где твой... что привел тебя?

— Там... на дворе.

— Скажи, чтоб в четвертую палатку отвел.

Сенька вышел.

В четвертой палатке оказался только один раненый. Он спал на соломе, раскинув ноги и положив белую, перебинтованную руку на живот. У входа стоял часовой.

Сенька взбил солому, положил в голову скатку и растянулся рядом с раненым. Со двора доносились гудки автомашины. Где-то совсем недалеко все еще громыхало. Сенька лежал и смотрел на зеленое, свисающее над его головой полотно палатки. Потом закрыл глаза и долго лежал с закрытыми глазами...

...Подбежал старый, одноглазый, с облезлым хвостом Цыган. Повилял хвостом, лизнул руку и побежал дальше... Потом появилась большая миска с пельменями. Они были очень горячие, а мать подкладывала еще и еще. Из-за окна доносилась гармошка. Он торопился доесть пельмени, чтоб пойти с ребя-

тами на Енисей, но вспомнил, что отец велел починить крыльцо. Стал искать топор...

Кто-то вошел и вышел из палатки. Сенька открыл глаза, но в палатке уже никого не было. Только пола палатки слабо раскачивалась. Спящий рядом боец что-то бормотал во сне. Сенька опять закрыл глаза.

...Енисей — широкий-широкий. И маленькая лодочка на нем. В ней отец. Здесь таких рек нет. Все маленькие какие-то, закисшие, желтые. И лесов здесь нет. Разве это леса? Дубки, осинки.

И вообще ни черта не поймешь.

Сказали, немца приехали бить... А где немец? Привезли с вечера, велели окопаться. Сказали, что это уже передовая и за той вот сопочкой первый эшелон находится. Но ни эшелона, ни немцев Сенька не увидел. Поужинал сухарями из мешка — кухня где-то застряла сзади, — стал копать себе окопчик. Грунт был мягкий, хороший. Сенька быстро выкопал окопчик на всю длину лопаты, сделал бруствер в ту сторону, где, сказали, немцы, замаскировал бурьяном, на дно положил мягкой пахучей травы и лег спать — до утра командир взвода разрешил спать. И Сенька заснул, пристроив винтовку между коленями.

А утром... Как началось... Как началось...

Политрук все говорил, что немец штыка боится. И Сенька так научился работать штыком, что чучело из земли чуть ли не с корнем вырывал. И гранату во всем батальоне дальше всех бросал, дальше командира батальона даже... Но вот бросал, бросал, два месяца бросал — а что толку? Немец вовсе в воздухе

оказался — ни штыком, ни гранатой не достанешь.

Лежавший рядом боец зашевелился, перевернулся в сторону Сеньки, почмокал губами и проснулся. Некоторое время он лежа смотрел на Сеньку, потом сел, поджал ноги и спросил:

— Из тридцать седьмого?

— Из тридцать девятого.

— Это что во втором эшелоне лежит?

Сенька кивнул головой. Боец улыбнулся. У него были черные редкие зубы, мелкие морщины на всем лице и маленькие блестящие глаза с короткими прямыми ресницами. Левая ладонь так же, как и у Сеньки, была перевязана и подвязана к шее.

— Сам? — боец глазами указал на Сенькину руку.

Сенька почувствовал, что уши у него становятся горячими, и ничего не ответил.

— Ты не бойся. Говори.

Сенька переложил руку на другое колено — она стала вдруг ныть — и уставился в кончик своего сапога.

— Да ты что — немой? Или контузило? Звать тебя как?

— Сенькой.

— Семен, значит. А фамилия?

— Коротков фамилия.

— Ну, а меня Ахрамеев — Филипп Филиппович Ахрамеев. Будем знакомы, — и он протянул руку.

Сенька пожал сухую, горячую ладонь.

— Боишься, что ли? — боец криво улыбнулся и похлопал здоровой рукой Сеньку по

колену. — Зря... Зря боишься. Сойдет. С месячишко отдохнем, а там... мало-мало заживет, и стрекача дадим. До излечения все равно судить не будут. Это уж я знаю, — он потянулся и зевнул. — А может, и отбрешемся еще.

Сенька молчал.

Боец вытащил из-под соломы плоскую железную коробочку, в которой немцы носят ружейные принадлежности, и ловко, одной рукой и губами, свернул цигарку.

— Тебе, правда, маленько хужей. Мы хоть на передовой все время толклись, а у вас, в тридцать девятом, кроме бомбежки, ни черта... Пулевое ранение. Начнутся вопросы, расспросы... Ты через котелок стрелял?

— Через какой котелок? — не понял Сенька.

— Через котелок, спрашиваю, стрелял или через мокрую тряпку?

— Нет. Просто так... — Сенька опять почувствовал свои уши.

— Эх, голова ты... — вздохнул боец. — Разве делают так? Котелок, тряпка — они же ожог скрывают. А ожог — что? Первая улика, — и он опять зевнул. — А в общем ни хрена, драпанем, не тужи... — Он вытянулся на соломе и молча стал курить, сплевывая в сторону крошки махорки.

Сенька взял «сороковку», докурил ее до самых пальцев и вскоре заснул.

3

Вечером принесли пшенного супа с куском хлеба, а потом пришел полковой химик — старший лейтенант, вынул лист бумаги и, присев на корточки, стал спрашивать Сеньку, где

он родился, сколько ему лет, где учился и еще много вопросов. Сенька на все отвечал, а старший лейтенант записывал. Потом старший лейтенант прочел записанное и велел подписаться на каждом листочке. Сенька подписал. Старший лейтенант аккуратно сложил листочки пополам, всунул в планшетку и, ничего не говоря, ушел.

«За человека не считает», — подумал Сенька и вспомнил, как он когда-то угощал этого самого старшего лейтенанта домашней крепкой махорочкой и как тот после этого всегда при встрече с Сенькой весело говорил: «Ну как, орел, покурим, что ли, твоей сибирской, крепенькой?»

Сейчас о махорке он даже не заикнулся.

— Дознаватель, — сказал из своего угла Ахрамеев, — ерундовина... Вот когда следователь будет, тогда узнаешь.

— А что, еще и следователь будет? — спросил Сенька.

— А как же. Он-то уж поговорит, будь уверен, — сказал Ахрамеев и встал. — Выйдем-ка, посмотрим, что на божьем свете делается.

Они вышли. Сели у входа в палатку.

У перевязочной все так же толклись бойцы — запыленные, в выцветших гимнастерках, в черных от грязи бинтах.

Мимо прошел боец, опираясь на палочку.

— Ну как там, браток? — спросил Ахрамеев.

— Не видишь, что ли?.. — боец кивнул головой в сторону передовой и спросил, где регистрируют.

Над передовой один за другим пикировали немецкие самолеты. Какие-то новые, не похожие на утренние — маленькие, четырехкрылые, точно бабочки. Они долго кружились один за другим, потом камнем, совсем отвесно, падали вниз.

— Хозяева... хозяева в воздухе... Ты только посмотри. — Ахрамеев в сердцах сплюнул. — Что хотят, то и делают.

Сенька ничего не ответил. Он посмотрел на желтоватое облако, плывущее над передовой, и у него опять мурашки по спине пошли.

— Пойди вот потягайся с ним. Сегодня утром один наш «ястребок» в бой вступил. Так они его, бедняжку, так гоняли, так гоняли... А потом сбили. Туда куда-то, за лес, упал. — Ахрамеев протяжно вздохнул. — Не война, а убийство сплошное.

Сенька, скосившись, посмотрел на Ахрамеева. Тот сидел, поджав к подбородку колени, и тоже смотрел туда, где бомбят. Потом взглянул на Сеньку:

— Вот я на тебя смотрю. Парень здоровый—кровь с молоком. Тебе жить надо. Жить. А тебя под бомбы, как скотину, гонят. Я вот старик, а и то жить хочу. Кому умирать охота? Да по-бестолковому еще... Мясорубка — вот что это, а не война.

— Нельзя так говорить, — сказал Сенька не поворачиваясь — солдату нельзя так говорить.

Ахрамеев даже рассмеялся мелким, сухим смешком:

— Нельзя, говоришь? А руку зачем продырявил? Чтоб немца сдержать, что ли? Ты уж хвостом не верти. Сделал так сделал. И пра-

вильно сделал. Голова, значит, еще работает у тебя. А посидел бы еще на передовой, совсем бы ее лишился или вот так, как этого, на носилках, приволокли бы, — и он подбородком указал на раненого на носилках.

Это был тот самый без ноги, которого Сенька видел в перевязочной. Лицо у него было совсем белое и еще гуще обросло бородой. Он держался руками за края носилок и при каждом шаге носильщиков морщился.

«Что теперь парень делать будет? — подумал Сенька. — Ни пахать, ни плотничать... Сиди весь век и на других смотри... Или без руки». — Сенька видел одного — обе руки оторвало. По локти. По малой нужде и то сам ходить не мог — просил, чтоб помогли.

Сенька сжал кулак. Посмотрел на него. Хороший кулак. И рука хорошая. Крепкая. Сеньке вдруг ужасно захотелось поработать топором. Отец говорил, хороший плотник из него получится — и сила есть, и точность, и глаз хороший. Руки — это все. Нельзя без рук жить... И Сенька опять сжал кулак и посмотрел на него.

Ахрамеев что-то говорил. Сенька поймал только конец фразы: «...за месяц чего только не случится. Время, время надо протянуть. Вот что надо. А там...»

Сенька посмотрел на Ахрамеева. Тот попрежнему сидел, поджав ноги к подбородку. И Сенька вдруг почувствовал, что еще минута — и он ударит кулаком по этому желтому морщинистому лицу. Он встал и вошел в палатку. Стоявший у входа часовой пристально посмотрел на него.

«Чего он смотрит? Людей, что ли, не видел? Его бы туда, к бомбам поближе».

Когда Ахрамеев зашел в палатку, Сенька сделал вид, что спит.

4

Весь следующий день Сенька просидел у входа в палатку и смотрел туда, где рвутся бомбы.

С передовой шли раненые, и он искал среди них знакомых. Прошло несколько человек из пятой и шестой рот. Он хотел их остановить, но почему-то не сделал этого. Они прошли в перевязочную, а Сенька продолжал сидеть и смотреть туда, за кустарник, где клубилось и громыхало небо, где остались Тимошка и Синцов, и командир взвода, и еще человек двадцать ребят, с которыми он вместе жил, и из одного котелка ел, и впятером один бычок курили.

А может, их уже и в живых нет? А те, что живые, увидят его, Сеньку, и...

На третий день, в перевязочной, он увидел старшину своей роты. В Татьяновке, под Купянском, они жили с ним в одной хате. Сенька даже ремень ему свой подарил — хороший, желтый, совсем новый. Неплохой был старшина. Бойцы всегда были сыты. А что еще бойцу от старшины надо? Чтоб кормил хорошо и белье чаще менял. А что ругается, так это уж им, старшинам, так положено. А Пушков, хоть и много ругался, но о бойцах заботился крепко.

После перевязки Сенька подошел к Пуш-

кову. Тот стоял у стола и ждал, пока фельдшер напишет ему какую-то бумажку.

— Здравствуйте, товарищ старшина, — негромко сказал Сенька и поднес руку к пилотке.

Старшина оглянулся и посмотрел на него, потом на его руку.

— Тоже ранило? — спросил Сенька и стал глазами искать, куда же старшину ранило.

— Нет, — коротко ответил тот и отвернулся.

Сенька переступил с ноги на ногу, посмотрел на такую знакомую, широкую спину, на свой постаревший ремень и опять спросил:

— Ну как там? На передовой...

Старшина ничего не ответил, стоял и смотрел, как фельдшер пишет бумажку: тот быстро-быстро водил пером по ней.

«Не расслышал», — подумал Сенька и опять собрался задать тот же вопрос — уж очень ему хотелось знать, живы ли Тимошка и Синцов. Но тут старшина круто повернулся и с разгона налетел на него.

«Сейчас облает», — подумал Сенька. Но тот не облаял, даже слова не сказал, а, засовывая бумажку в боковой карман, пошел к выходу. Сенька постоял, потом тоже вышел.

Старшина стоял у подводы и, насвистывая, взбивал сено.

«Подойти к нему, попроситься — возьмет, может...»

Старшина снимал с лошадей мешки с овсом и вставлял мундштуки.

«Так прямо и скажу. Что угодно пускай делают. Гранаты могу бросать. Патроны подносить...»

Он вытер выступивший вдруг на лбу пот и подошел к повозке. Старшина уже сидел в ней умащиваясь.

— Товарищ старшина...

Пушков повернулся.

Лицо у него было усталое и какое-то старое. Он здорово похудел за последние дни.

— Чего тебе?

— Возьмите меня, товарищ старшина... — Больше он ничего не смог сказать.

— Тебя?

Сенька мотнул головой. Во рту пересохло, и язык вдруг стал большой и неповоротливый. Старшина поправил шинель под собой.

— Пошел, Серко... — и дернул вожжи.

Подвода затряслась по ухабам, подымая тучи пыли, потом скрылась за поворотом. Сенька проводил ее глазами, вошел в палатку и до обеда лежал, уткнувшись лицом в солому.

Больше он ни к кому уже не подходил.

## 5

На передовой что-то изменилось. Стрельба приблизилась. В рощицу и вокруг нее сначала редко, а потом все чаще и чаще начали падать снаряды. Раненых стало так много, что ими заполнили не только их с Ахрамеевым палатку, но раскладывали их прямо на земле в кустах. Доктора и сестры сбивались с ног. Операционная работала круглые сутки без всякого перерыва.

— Плохо дело, — говорили бойцы. — Авиация одолевает, дохнуть не дает.

Бойцы были из разных полков, из разных дивизий, но все говорили одно — жмут немцы, спасу нет.

Рядом с Сенькой положили худенького с наголо выбритой круглой головой сержанта-разведчика. У него были большие черные, вероятно, когда-то очень веселые глаза. Ранен он был в обе ноги. Четырьмя осколками. Пятый сидел где-то в ключице. Лежал он все время на спине, но не стонал и не жаловался, только воды все просил — у него был жар.

— Где это тебя так разделало? — насколько мог участливо спросил Сенька, ему очень жалко было худенького сержанта.

— На мине подорвался, в разведке, — сказал сержант и, тяжело дыша и поминутно кашляя, стал рассказывать, как он с тремя разведчиками — командира взвода убило, и он его заменил — пошел за «языком», как они достали этого «языка», а на обратном пути сбились, попали на минное поле, и вот только он один и остался жив — всех четверых, с фрицем вместе, на клочки разорвало.

Сенька молча слушал и сочувственно смотрел на сержанта. «Какой он худенький, совсем пацан», — думал он и сравнивал свою мускулистую жилистую руку с тоненькой, совсем как у девочки, рукой сержанта, выглядывавшей из рваного рукава.

— Повезло тебе, — сказал Сенька.

— Повезло, — улыбнулся сержант.

— А ты давно воюешь?

— Я? Дай бог. Третий раз вот уже ранен.

— Третий раз? — удивился Сенька.

— Третий. Под Смоленском, под Ржевом и вот здесь теперь.

— И все живой остаешься?

— Как видишь, — сержант медленно, с натугой улыбнулся, ему, по-видимому, трудно было улыбаться. — Водички нету?

— Я сейчас принесу, — сказал Сенька и побежал на кухню.

Когда он вернулся, сержант лежал и тяжело дышал. Лицо его стало совсем красным.

— Жар, должно быть, — сказал Сенька и поднес кружку к сухим, потрескавшимся губам сержанта. Тот с трудом сделал несколько глотков, откинулся назад и слабо выругался.

— Обидно, черт возьми, — он опять выругался. — Не увижу больше ребят.

— Тебе что — кости перебило?

— Кости. На обеих ногах кости.

Сенька посмотрел на его ноги — обмотанные во всю длину, толстые и какие-то квадратные, только кончики пальцев выглядывали.

— Да, долго тебе лежать.

— Долго, — вздохнул сержант и опять попросил пить. — С полгода проваляюсь. Как колода. А ребята воевать будут...

Больше он ничего не сказал. Закрыл глаза и долго лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал.

«Как бы не помер», — подумал Сенька, и ему еще более жалко стало худенького сержанта. Он осторожно приподнял бритую голову его — она была горяча, как огонь, — и подложил свою скатку.

Ночью сержант стал бредить — вспоминать Полтаву, Клашу, ругать какого-то старшину, — и Сенька всю ночь менял ему холодную, мокрую тряпку на лбу. К утру бред прошел, жар отпустил, и часа два сержант спал спокойно. Сенька тоже вздремнул.

Только утром заметил Сенька, что у сержанта на груди «Красная Звезда». На одном уголке эмаль облупилась. «Такой молоденький — и уже орден», — подумал Сенька и побежал за завтраком.

— За что это ты орден получил? — спросил потом Сенька, кормя сержанта с ложечки.

— За что дают, за то и получил, — уклончиво ответил Николай (сержанта звали Николаем) и облизал ложку.

— И давно получил?

— Давно.

«Смелый, должно быть, — подумал Сенька. — По морде видать, что смелый. А ведь такой худенький, хлипкий».

После завтрака Николаю захотелось оправиться, и Сенька бегал за судном — оно было одно на весь санбат, и на него была очередь, — и помогал Николаю с ним сладить.

— Ты мировая няня, — сказал Николай, и Сеньке это было ужасно приятно.

Когда Николая унесли на перевязку, Сенька нарвал свежей травы и подложил под плащ-палатку, на которой лежал Николай. А на обед выклянчил у повара лишний кусок мяса, но у Николая не было аппетита, и пришлось ему самому съесть.

— Аппетитец у тебя — дай бог, — улыбнулся Николай.

Сенька смутился и отставил котелок.

— А мне вот не лезет ничего. Тошнит чего-то.

— Это от жару.

— А вот пить... Ведро бы зараз выпил.

— Дать? — спросил Сенька и потянулся за кружкой.

— Дай.

Николай, морщась от боли, но с наслаждением, выпил пол-литровую кружку, откинулся на скатку и стал смотреть на голубой ослепительный кусок неба, видневшийся в отверстие палатки.

Часам к трем, когда солнце стало особенно припекать, Николай попросил, чтобы его вынесли на двор — палатка накалилась, и у него заболела голова. Сенька выпросил у лейтенанта, лежавшего в углу, плащ-палатку и растянул ее так между кустами, что солнце совсем не мешало Николаю. Сам он пристроился рядом, отгонял лопухом от Николая мух, скручивал ему папиросы — он довольно ловко научился это делать рукой и коленом — и бегал на кухню прикуривать.

Над головой время от времени пролетали самолеты и бомбили большой кудрявый лес километрах в пяти отсюда — там стояла артиллерия и какая-то кавалерийская часть.

Так они лежали — Сенька на животе, Николай на спине — и говорили о «юнкерсах», об артиллерии, о кавалерии, о том, как плохо приходится ей в эту войну. Николай здорово разбирался во всех видах самолетов, учил Сеньку, как отличать «юнкерс» от «хейн-

келя» и «Мессершмитта-110», как надо стрелять в самолет, когда он низко летит. Потом им надоело разговаривать, и они просто лежали и смотрели на небо, следя за косяками летящих бомбардировщиков.

Подъехали две машины с ранеными. Их быстро разгрузили под деревьями, а машины загнали в кусты. Опять стало пусто, только часовой у палатки ходил взад и вперед, перекладывая винтовку из руки в руку.

— И чего это он все ходит и ходит? — спросил вдруг Николай, смотря на часового. — На передовой людей не хватает, а он здесь торчит.

— Положено так, должно быть, — уклончиво ответил Сенька и стал возиться с плащ-палаткой. — Перетянуть, что ли, а то солнце заходит.

— Может, дезертиры тут с нами лежат? А? Как ты думаешь?

Сенька ничего не ответил. Стоя на коленях, он натягивал плащ-палатку.

— А ты знаешь, — помолчав, сказал Николай, — по-моему, тот, что рядом с тобой лежит, самострельщик. Вид у него какой-то такой...

— Может быть, — неопределенно ответил Сенька. — Тебе воды не принести? — Сенька встал. — Там, на кухне, свежей, кажется, привезли.

— Не стоит, не хочется. А я вот с ними бы не цацкался. Лечат чего-то их, возятся. Кому это надо? Люди там, — он кивнул головой в ту сторону, где день и ночь громыхало, — из

кожи вон лезут, держат, а эти сволочи о шкуре своей только думают. Пострелял бы их всех к чертовой матери. Дай-ка я докурю... И знаешь, — Николай с трудом повернул голову, чтобы увидеть Сеньку, — их сразу отличить можно. Морды воротят, в глаза не смотрят. Чувствуют вину свою, гады, — он вдруг засмеялся. — Вот у тебя тоже левая ладонь — совсем самострельщик. Тебя чем это? Пулей или осколком?

— Пулей, — чуть слышно ответил Сенька и побежал с котелком на кухню.

6

Вечером пришел приказ переходить на другое место. Вся ночь ушла на переезд. Сенька сам устроил Николая в машине и ехал все время рядом, поддерживая его. Николай лежал у самой кабины, там меньше трясло. На ухабах он крепко хватал Сенькину руку, но ни разу не пикнул. Дорога была отвратительная.

На новом месте Николая с Сенькой чуть не разлучили. Сенька долго бегал за старшим врачом, командиром батальона, но те даже слушать не хотели, отмахивались — дел и так по горло: машины с инструментами застряли в дороге, а новые раненые стали уже поступать. Только под самое утро Сенька договорился с каким-то фельдшером, и Николая положили в Сенькину палату, хотя в ней, кроме него и Ахрамеева, были только «черепники».

Весь следующий день они спали.

Вечером пришел старший врач, грузный, с сонными маленькими глазами армянин, по-

смотрел на Сенькину руку, сказал, что недельки через две выписывать уже можно, а Николая велел записать в список для эвакуации.

— Придется поваляться, молодой человек. Боюсь, как бы легкое не было задето.

Николай только вздохнул.

Но прошел день, и еще день, и еще один, а Николая все не эвакуировали. Машин было всего три — две полуторки и одна трехтонка, — и в первую очередь отправляли «животиков» и «черепников». Раненых с каждым днем становилось все больше и больше. Фронт медленно, но упорно двигался на восток. Круглые сутки гудела артиллерия. Над передовой висела авиация.

Дни стояли жаркие. Одолевали мухи. По вечерам — комары. Раскаленный воздух дрожал над потрескавшейся землей. Серые от пыли листья беспомощно висели над головой. Медленно ползло по бесцветному от жары и пыли небу ленивое июльское солнце.

Сеньку в палатке прозвали Николаевым адъютантом. Он ни на шаг не отходил от него — мыл, кормил, поил, выносил судно. Стащил на кухне большую медную кружку, чтоб у Николая все время под руками была холодная вода, приносил откуда-то вишни, усиленно пичкал выпрошенным у сестры стрептоцидом, отдавал свою порцию водки, говоря, что не может в такую жару пить, и Николай с трудом, морщась, глотал ее, хотя ему тоже не хотелось, — просто чтоб не обижать Сеньку.

Николаю становилось лучше. Температура

упала — выше 37,5—37,6 не подымалась. По вечерам, когда все в палатке засыпали и только наиболее тяжелые ворочались и стонали, Сенька с Николаем долго болтали в своем углу. Сенька полюбил эти вечера. Где-то над самой головой успокоительно стрекотали ночные «кукурузники», а они лежали и перемигивались папиросами.

— Ты за лисицами охотился? — спрашивал Сенька.

— Нет, не охотился, — отвечал Николай.

— А за медведями?

— И за медведями не охотился.

— Приезжай тогда после войны ко мне. Я тебя научу охотиться. У нас там горностаи, куницы есть, а белок...

И Сенька со всеми подробностями рассказывал, как он с отцом на охоту в тайгу ходил на целую неделю и как медведь чуть не оторвал хвост Цыгану и с тех пор шерсть из него стала вылезать и хвост совсем стал голый.

Николай слушал, иногда покашливая, потом спрашивал:

— А за кукушками ты охотился?

— Кто же за ними охотится? Кому они нужны? — смеялся Сенька.

— А я вот охотился.

— Врешь.

— Зачем вру? Они там большие, жирные, пуда в три — четыре весом.

— Где ж это такие кукушки?

— В Финляндии такие кукушки.

— А ты и в Финляндии был?

— Был. Кякисальми — слыхал? Нет? Тем лучше. Я добровольцем тогда был. Вот эти

два пальца отморозил тогда. И на ноге, на левой, четыре.

— Ты и орден там получил? — спросил Сенька.

— Там.

Сенька выждал немного, думая, что Николай еще что-нибудь скажет, но Николай ничего не говорил. Тогда Сенька спросил:

— А за что ты его получил?

— Чудак ты, Сенька. За что да за что. За войну, конечно.

— Нет... За что именно?

— Черт его знает. В разведку ходил, «языка» ловил.

«Врет, — подумал Сенька, — наверное, танк подбил или генерала в плен взял...»

Некоторое время они лежали молча, прислушиваясь к звону ночных кузнечиков. Полы палатки были приподняты, и над головами видны были звезды. Где-то сверкали зарницы.

— Эх, Сенька, Сенька... — тихо сказал Николай. — Жаль, что не в одной части мы с тобой. Взял бы я тебя к себе. Хороший бы разведчик из тебя получился. Раз охотник — значит, и разведчик. Помкомвзводом бы назначил.

— Я карту не умею читать, — сказал Сенька. — И вообще...

— Что вообще? Научился бы. — Николай, помолчав, вздохнул. — А завтра меня эвакуируют. Это уже точно. Доктор сказал. В тыл повезут. Ты воевать будешь, а я месяца четыре бока отлеживать где-нибудь в Челябинске, — и опять помолчал. — А до чего не хочется, Сенька, если бы ты знал...

Сенька ничего не ответил.

Больше всего в жизни ему хотелось сейчас быть у Николая помкомвзводом. Ох, как бы он у него работал... И обязательно бы сделал что-нибудь очень геройское. Так, чтоб все о нем заговорили. И орден бы ему дали. И чтоб Николай... Нет, этого никогда уже с тобой не будет. И воевать ты больше не будешь. Отвоевался. «Пострелял бы их всех к чертовой матери, — сказал Николай. — Чего с ними цацкаться». И с тобой не будут цацкаться. Ты солдат, ты давал присягу, обещал драться до последней капли крови, и ты нарушил эту присягу, струсил — теперь становись... Все! Нет тебе жизни на земле...

Сенька почувствовал, как что-то подступило к горлу, встал и вышел из палатки. Боже, чего б он только не дал, чтоб стать помкомвзводом у Николая...

На следующий день Николая тоже не эвакуировали. Где-то разбомбили мост, и машины стали ходить вкруговую. К тому же одна поломалась, и работали теперь только две.

Целый день шел дождь. Палатка была дырявая — посечена осколками, — и дождь тоненькими струйками, точно душ, орошал бойцов. Но никто не ворчал — уж больно жара надоела.

— Да и ребята на передовой отдохнут малость, — смеялись раненые, — меньше будут головы кверху задирать.

Сенька достал в соседней палатке потрепанную, без начала и конца книжечку — пьесу Го-

голя «Женитьба» — и, водя пальцами по строчкам, читал вслух. И хотя читал он медленно, запинаясь — мешали какие-то незнакомые буквы, «Ѳ», «Ѣ», — всем очень нравилось, и смеялись дружно и весело.

Как раз когда Сенька дошел до того места, где Подколесин выскочил в окно, в палатку вошел красноармеец.

— Тебе чего? — строго спросил Сенька, не отрывая пальца от книги, чтоб не потерять места. — Видишь, заняты люди.

Красноармеец равнодушно посмотрел на Сеньку, прислонил винтовку к подпиравшему палатку шесту и стал искать что-то в кармане.

— Ну, долго искать будешь?

Красноармеец нашел наконец нужную бумажку и таким же равнодушным, как и глаза его, голосом сказал:

— Самострельщики тут которые. На двор выходи. Следователь вызывает...

У Сеньки запрыгали буквы перед глазами. Он даже не расслышал, как произнесли его фамилию. Он встал и, ни на кого не глядя, вышел из палатки.

Потом он стоял перед каким-то лейтенантом с усиками. Лейтенант что-то спрашивал. Сенька отвечал. Потом лейтенант велел ему сесть. Он сел и стал вырывать из бинта белые ниточки — одну за другой. Голос у лейтенанта был тихий и спокойный, но говорил он очень по-городскому, и Сенька не все понимал. Слова лейтенанта как-то не задерживались в нем, проходили насквозь. Он сидел на траве, поджав по-турецки ноги, смотрел на круглое, розовое, чисто выбритое лицо лейтенанта, на

тоненькие, как две ниточки, усики и ждал, когда ему разрешат уйти. И когда лейтенант встал и стал застегивать планшетку, Сенька понял, что разговор кончился, что ему можно идти, и тоже встал.

В палатку он не вошел. Он лег на траву под расщепленным дубом и пролежал там до самого вечера. Несколько раз подходил к нему Ахрамеев. Сенька делал вид, что спит. В последний раз Ахрамеев пришел и уселся рядом. Сенька лежал с закрытыми глазами, слушая, как возится и покряхтывает Ахрамеев, потом повернулся и посмотрел ему прямо в глаза:

— Чего тебе надо от меня?

Ахрамеев пожевал губами и криво улыбнулся:

— Как чего? Время настало...

— Какое время?

Ахрамеев опять криво усмехнулся:

— Какое время?.. Драпать время... Часа через два стемнеет... А тут село в трех километрах. Найдем дуру какую-нибудь и...

— Иди ты к... — Сенька сжал кулак.

Ахрамеев что-то еще хотел сказать, но запнулся, искоса как-то посмотрел на Сеньку, встал и, стряхнув с колен землю, быстро зашагал к палатке. Сенька перевернулся на живот и уткнулся лицом в согнутые руки.

Когда совсем стемнело, Сенька вернулся в палатку. Он долго стоял у входа, прислушиваясь, что делается внутри. Потом вошел. Николай уже спал, закрывшись шинелью. Сенька принес свежей воды из кухни и лег на свою солому и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Под утро он все-таки заснул.

Проснулся поздно, когда все уже позавтракали. У изголовья стоял котелок каши. Николай лежал и смотрел куда-то вверх. Сенька встал. Николай даже не пошевельнулся. Сенька вышел и принес чай. Потом тихо спросил Николая:

— Кушать будешь?

Николай ничего не ответил. Лежал и смотрел вверх.

Целый день Сенька пролежал под дубом. Когда вернулся, Николая уже не было. На его месте лежал другой. Котелок с остывшей кашей, нетронутый, стоял на прежнем месте.

## 7

До сих пор в палатке не знали, что Сенька самострельщик. То ли часовые об этом никому не говорили, то ли открытое, ясноглазое, с редкими оспинками лицо его не внушало подозрения, то ли просто каждый занят был самим собой и своими ранами — в палатке были в большинстве тяжелораненые, — но только никто ничего не знал.

И даже сейчас, когда тайна его раскрылась, нельзя было сказать, чтобы обитатели палатки обижали его или как-нибудь недружелюбно относились к нему. Нет, этого не было. Но что-то неуловимое, какая-то невидимая стена выросла между Сенькой и окружающими. На вопросы его отвечали сдержанно и кратко. Сами в разговор не вступали. Раньше по вечерам бойцы просили, чтоб он спел что-нибудь — у него был несильный, но чистый, приятный голос, — и он пел им негромко,

чтобы не мешать особо тяжелым, старые русские песни, которым отец учил его. Сейчас его не просили уже.

А как-то раз долго искали нож, чтобы нарезать хлеб, и хотя все знали, что у Сеньки есть замечательный охотничий нож с костяной ручкой в пупырышках, никто у него не попросил, а взяли у часового.

И Сенька молча лежал в своем углу, смотрел на ползающих по парусиновым стенам мух и прислушивался к все более приближающейся артиллерийской канонаде. Прибывшие раненые говорили, что немец будто где-то прорвался.

Вечером немецкий самолет сбросил на рощу несколько «трещоток». Раненые стали выползать из палатки. Сенька не шелохнулся.

Всю ночь мимо рощи тянулась по дороге артиллерия. Сначала тяжелая на тракторах, потом поменьше, но тоже тяжелая. Сенька лежал на животе и смотрел из-под завернутой полы палатки, как ползут громыхая по дороге пушки, плетутся одна за другой подводы. Пехоты не было. Шла артиллерия. Всю ночь шла.

К утру какая-то часть завернула в рощу. Комбат и старший врач, потные и злые, бегали взад и вперед, ругались с артиллеристами. Но артиллеристы не слушали их и расставляли пушки вокруг палаток, забрасывая их ветками. Артиллеристы тоже были потные и злые, голоса были у них хриплые.

Целый день где-то совсем недалеко стреляли пушки. Немецкие самолеты бомбили дороги и леса. По дороге шли раненые. И уже не оди-

ночками, а группами — по два, по три, по пять человек.

Некоторые заходили в рощу — на дороге стоял указатель с красным крестом, — другие шли дальше, грязные, оборванные, с волочащимися по земле винтовками.

К вечеру медсанбат стал сворачиваться. Сняли палатки и сложили их на опушке. Откуда-то приехали большие, крытые брезентом машины.

Сенька взял свою скатку, котелок и, стоя у дороги, смотрел, как укладывают ящики в машину.

Артиллеристы одну за другой вытягивали свои пушки на дорогу.

Кто-то с большой сумкой на боку, кажется фельдшер из третьей палатки, пробежал мимо Сеньки.

— А ты чего, красавец, стоишь? Давай к большому дубу.

— А там что?

Фельдшер крикнул что-то непонятное и побежал дальше.

Сенька пошел к большому дубу. Там стояла шеренга человек в двадцать красноармейцев, и низенький майор в выцветшей солдатской пилотке и с большой рыжей, набитой бумагами полевой сумкой на боку говорил им что-то.

— На левый фланг... На левый фланг, — замахал он рукой Сеньке, направившемуся было к нему.

Сенька стал на левый фланг, рядом с долговязым, длинноусым бойцом. Голова у бойца была перевязана. Все стоявшие в шеренге

были легкораненые: у кого рука, у кого голова, шея.

Майор прошел вдоль строя и записал в маленькую книжечку фамилию и имя каждого и из какой он части. Последним он записал Сеньку и сунул книжечку в карман.

— Зачем это он записывает? — спросил Сенька длинноусого. Тот осмотрел его с ног до головы.

— Первый день, что ли, в армии? Не знаешь, зачем записывают?

«Неужели кончать уже будут?» — подумал Сенька, и что-то тоскливое подступило к сердцу. Большая, забрызганная грязью машина, фыркая, выползла из кустов и остановилась под дубом. Все начали залезать в нее. Сенька тоже влез.

Майор выглянул из кабины и спросил:

— Все?

— Все, — ответило сразу несколько голосов из кузова.

— Поехали... — майор хлопнул дверцей.

Машина тронулась.

— Куда это нас везут? — спросил Сенька кого-то сидящего рядом на борту. Стало совсем уже темно, и лица превратились в белые расплывчатые пятна.

— На передовую, куда ж... — коротко ответил совсем молодой голос.

— На передовую? — Сенька почувствовал, как все в нем замерло.

— Не слыхал, что ль, что майор говорил? В полк там какой-то. Пополнение. Добровольцев собрали из ходячих.

Сенька схватил соседа за руку. У того даже хрустнуло что-то.

— Врешь...

Сосед выругался и попытался отодвинуться:

— Пьяный, что ли? На людей бросаешься...

Сенька ничего не ответил. Он увидел вдруг над собой небо, страшно большое и высокое, увидел звезды, много-много звезд, совсем таких же, как дома, на Енисее, и ему вдруг страшно захотелось рассказать кому-нибудь, как хорошо у них там, на Енисее, гораздо лучше, чем здесь, как проснешься иногда утром и двери наружу не откроешь — все снегом замело...

Он ткнул соседа в бок:

— Ты откуда сам?

— Чего? — не расслышал сосед.

— Сам откуда, спрашиваю?

— Воронежский. А что?

— Да ничего. Просто так... А я вот из Сибири, с Енисея... — он сделал паузу, ожидая, что сосед что-нибудь скажет, но тот молчал, держась обеими руками за борт. — Река такая есть — Енисей. Не слыхал? Весной разольется — другого берега не видно, совсем море. А когда лед трогается, вот красота. Тут небось и реки не замерзают вовсе...

Боец ничего не ответил. Машина круто повернула, и все навалились на правый борт. Сенька плотнее надвинул пилотку, чтобы не снесло, расстегнул гимнастерку и вдохнул полной грудью свежий, напоенный запахом меда ночной воздух.

— Холодок, хорошо...

— Через час согреешься, — мрачно буркнул сосед и отвернулся.

Машина прибавила скорость.

Они ехали среди высоких нескошенных хлебов, сворачивая то вправо, то влево, через разрушенные села, через рощи и лесочки, наклоняя головы, чтоб ветки не били по лицу. Ветер свистел в ушах, и где-то впереди, точно зарницы, вспыхивали красные зарева и медленно всплывали вверх и затем падали ослепительно яркие ракеты.

Потом они долго сидели у стенки какого-то полуразрушенного сарая, и где-то совсем рядом строчил пулемет и рвались мины, и курить им строго-настрого запретили, а немного погодя пришли какие-то двое и раздали им винтовки и гранаты.

Сенька винтовки не взял, только гранаты — шесть «лимонок» и две «РГД». Растыкал их по карманам и повесил на пояс.

Потом повели куда-то через огороды к речке. Посадили в траншеи. В траншее было пусто. Это были старые траншеи, они успели уже обвалиться и заросли травой.

«На той стороне, верно, немцы», — подумал Сенька и спросил у сержанта, который их вел, немцы ли на той стороне.

— Немцы, немцы, а то кто же. Вчера мы там были, а сегодня — немцы. Вот сидите и не пускайте их сюда. Понятно?

И Сенька сидел и смотрел на тот берег и щупал гранаты в кармане, а потом вынул и разложил их все перед собой.

В груди его что-то дрожало, он думал о Николае, и ему хотелось обнять его изо всех сил

и сказать, что сегодня что-то произойдет. Что именно, он и сам еще не знал, но что-то очень, очень важное...

## 8

Под утро на той стороне речки что-то заурчало. Но было темно, и ничего нельзя было разобрать. Потом перестало. Заквакали лягушки. Выползла луна. Где-то сзади, в траншее, послышался разговор. Двое командиров подошли к Сеньке. Один хромал и опирался на палочку.

— Какой роты, боец?

— А мы не с рот... Мы с медсанбата, — ответил Сенька и вытянул руки по швам.

— А-а-а... — неопределенно протянул хромой и, помолчав, спросил: — Танки где гудели?

Сенька указал рукой в ту сторону, откуда доносился звук.

— К мосту прут, сволочи, — сказал хромой.

Другой командир выругался. У него был хриплый, простуженный голос.

— А куда ж? Конечно, к мосту.

За рекой опять заурчало. Сначала тихо, потом громче и громче. Хромой облокотился о бруствер и приложил руку к уху:

— Штук десять, никак не меньше.

— Часа через три рассветет.

— Часа через три, а то и раньше.

— Ч-черт...

— Синявский что, убит?

— Убит.

— А Крутиков?

— И Крутиков... Эх, был бы Крутиков... К

самому танку бы подполз и на мосту бы подорвал.

— И бутылки ни одной со смесью?

— Будто не знаешь...

Они помолчали.

— Пройдем во вторую, к Рагозину.

Они ушли.

Сенька проводил их глазами — некоторое время еще было видно, как мелькали их головы над траншеей, — и облокотился о бруствер. Луна поднялась уже высоко, и на той стороне был виден каждый домик. Они смешно лепились по самому откосу — берег был крутой. Чуть левее виднелась церковь. Из густой зелени выглядывала только маковка с крестом. Правее, вверх по течению, через реку тянулось что-то черное и плоское — должно быть, мост. Из-за домиков то тут, то там, осыпаясь золотым дождем, взвивались вверх ракеты и, осветив, как днем, белые домики и купы деревьев над рекой, шипя, гасли в камышах. Лениво строчили пулеметы. Красные и зеленые точки, догоняя и перегоняя друг друга, терялись где-то на этой стороне. Иногда около церкви начинал щелкать миномет, а потом откуда-то сзади доносились разрывы мин. С нашей стороны никто не отвечал.

Один раз, когда взлетела ракета, Сенька увидал трех человек, бегущих к речке, и понял, что это и есть немцы. Он чуть-чуть не бросил в них гранату, но вовремя спохватился — речка была широкая, метров восемьдесят, никак не меньше.

Опять послышались чьи-то шаги по тран-

шее. Сенька обернулся. Те же двое, что проходили недавно.

— Ну как? — спросил один из них, останавливаясь около Сеньки.

— Да ничего. Стреляют помаленьку, товарищ... — Сенька запнулся, не зная, как обратиться — было темно, и знаки различия никак нельзя было разглядеть.

— Лейтенант, — докончил за него командир и спросил, нет ли у него спичек.

— «Катюша» только, — ответил Сенька.

— Давай «катюшу».

Сенька порылся в кармане, вытащил длинный, с полметра, фитиль, кремень, металлическую пластинку для высекания огня — все аккуратно завернутое в тряпочку — и протянул лейтенанту.

— Мы здесь рядом будем, — сказал лейтенант и прошел немного дальше по траншее.

Сенька опять облокотился о бруствер и стал смотреть на противоположный берег. Слышно было, как командиры долго высекали огонь — очевидно, не зажигался фитиль,— потом один из них спросил, который час.

— Тридцать пять второго.

Помолчали.

— Надо решение принимать. Через час будет поздно.

— Надо...

— Кого ж послать? У меня три человека всего. Два из них раненые, а Степанов.., да что о нем говорить.

— А гранат сколько?

— Гранат хватит. С гаком хватит. Ящиков пять. Да бросать их надо умеючи... Нету

Крутикова. А Степанов только полные штаны наделает.

Они долго молчали. Было видно только, как вспыхивают папиросы. Потом тот, что хромал, сказал:

— Значит... кому-то из нас. Или мне, или тебе.

— Куда тебе, с ногой-то...

— Не ногами же кидать. Руки здоровые. А ты левой и на десять метров не кинешь.

— Кину или не кину — другой вопрос, через час танки уже здесь будут.

И в подтверждение его слов за рекой опять заурчало.

Сенька пристально посмотрел в ту сторону, где урчало, ничего не увидел, собрал с бруствера гранаты, подтянул потуже ремень, расправил складки спереди, надел скатку через плечо и, засовывая гранаты в карман, подошел к командирам.

Где-то вдалеке пропел петух.

## 9

Первый танк неуверенно как-то вылез из-за полуобвалившейся хаты и, точно поколебавшись, идти дальше или не идти, медленно, переваливаясь с боку на бок, пополз к мосту. По нему никто не стрелял. Пушек в полку уже не было.

Танк медленно подполз к мосту. Остановился. Сделал три выстрела — снаряды разорвались где-то совсем недалеко, за спиной у Сеньки, — и пошел по настилу. Из-за хаты появился другой танк.

Сенька взял связку гранат и взвел центральную. Три другие связки лежали рядом на траве.

Танк медленно полз, громыхая гусеницами. Он был серый, и на боку у него был черный крест, обведенный белой краской. Рядом с крестом ярко-красным пятном выделялся какой-то нарисованный зверь с задранными лапами.

«Совсем как на картине, — вспомнил Сенька изображение танка, которое ему показывали, когда они еще в тылу были. — Вот там баки с горючим, там мотор... Первую, значит, под гусеницы, вторую в баки, а дальше...»

Сенька стал на одно колено. Другой ногой уперся в какой-то корень. Мешали ветки кустарника. Сенька осторожно отстранил их, потом взял связку гранат и проверил взвод.

Танк полз по мосту. Мост изгибался под ним, и, если б не грохот гусениц, вероятно, было бы слышно, как он скрипит.

Танк проехал три пролета. Осталось еще два. Сзади на мост въезжал уже другой. Третий полз по берегу.

Сенька посмотрел на небо — оно было чистое-чистое, без единого облачка, — на берег, на кусты, на ослепительно желтый песок у воды, стиснул зубы, размахнулся как можно сильнее и бросил связку прямо под гусеницы. Потом вторую... Потом встал во весь рост и бросил третью.

Гигантский клубок пламени взметнулся к небу.

С того берега застрочил пулемет.

Сенька припал к земле, нащупал рукой

четвертую связку, взвел ее и тоже бросил. Она не долетела до моста, попала в воду. Громадный фонтан воды взвился к небу, и под Сенькой задрожала земля.

Танк горел, пуская клубы густого черного, как сажа, дыма. Какие-то люди бежали по мосту в обратную сторону. Второй танк пятился назад.

Сенька надвинул на брови пилотку и согнувшись побежал к видневшемуся сквозь сосенки белому домику.

Когда он подбегал уже к самому домику, сзади что-то оглушительно грохнуло. Сенька на бегу обернулся. Два пролета моста охвачены были огнем. Танка больше не было видно.

Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно голубому небу.



## РЯДОВОЙ ЛЮТИКОВ

Как-то ночью я возвращался с передовой. Устал невероятно. Мечтал о сне — больше ни о чем. Приду, думаю, даже ужинать не буду, сразу завалюсь... Но вышло не совсем так.

Спускаясь в овраг на берегу Волги, я еще

издали заметил, что возле моей землянки что-то происходит. Человек десять — пятнадцать бойцов толпились около входа в блиндаж.

— Что тут у вас?

— Да заболел вроде один, — ответил кто-то из темноты.

— В санчасть отправить, значит, надо. Чего стоите? Пополнение, что ли?

— Пополнение.

Получали мы его тогда — дело происходило в Сталинграде в конце января сорок третьего года — не часто и не густо. Человек по пятнадцать — двадцать в неделю, моментально расхватываемых батальонами. Тут же в овраге, как раз против моей землянки, пополнению выдавали тулупы, валенки, теплые заячьи рукавицы, оружие и отправляли на передовую.

Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Терентьев, мой связной.

— Симулянт... — Терентьев всегда был всем не доволен, на все ворчал и всех осуждал. — Нажрался чего-то и в «ригу» поехал. Напачкал только.

— Ладно. Позови Приймака. А бойцов давайте-ка к штабу... А то подорветесь здесь на капсюлях. Живо...

Бойцы, ворча, поплелись к штабному блиндажу. У входа в землянку остался только больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю.

— Что с тобой?

Он медленно поднял голову и ничего не сказал. Его опять стошнило.

— Заведи его в землянку, — сказал я. — А я в штаб и сейчас же назад. Приймаку скажи, чтобы градусник захватил.

Когда я вернулся из штаба, Приймак, фельдшер, сидел уже в землянке и Терентьев поил его чаем.

— Ну, что у него?

— А бог его знает, — отхлебывая горячий чай, сказал Приймак. — Отравился, должно быть. Дай-ка градусник, орел.

Боец полез за пазуху и с трудом вытащил из-под всех своих гимнастерок и телогреек хрупкую стекляшку. Вид у него был плохой — лицо серое, небритое, губы сухие, спутанные черные волосы лезли из-под ушанки на глаза. На вид ему было лет двадцать пять, не больше.

Приймак глянул на градусник и встал.

— Тридцать восемь и пять. Пусть полежит пока... После посмотрим.

Боец тоже встал, придерживаясь рукой за койку.

— Давно заболел? — спросил я.

— С утра...

— А чем кормили?

— Горох... Консервы...

— А раньше болел?

— Да как сказать... Не очень.

Отвечал он односложно, тихим, глухим голосом, не глядя на нас.

— Что же на том берегу не сказал, что болен? — спросил Приймак.

Боец поднял глаза — черные, усталые, лишенные веселого блеска глаза ничем не инте-

ресовавшегося человека, — но ничего не сказал.

— Симулянт, одно слово, — пробурчал Терентьев, сгребая остатки сахару со стола в консервную банку. — Набил градусник, и все...

Приймак цыкнул на Терентьева:

— Много понимаешь ты в медицине, — и повернулся ко мне: — Консервы. Факт, что консервы... Пускай полежит денек...

Но Лютиков — так звали этого бойца — пролежал не денек, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня — в блиндаж моих саперов угодила мина, и пришлось его чинить, — лежал молча, подложив мешок под голову и укрывшись до подбородка шинелью. Смотрел не мигая в потолок черными усталыми глазами. Почти не говорил, ничего не просил, не жаловался. Раза три, обычно после еды, его тошнило, и Терентьев, убирая за ним, безумолку ворчал и швырялся предметами. Потом Лютиков перешел во взводный блиндаж, и за иными делами я совсем забыл о его существовании. Напомнил мне о нем Черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявший обязанности замполита.

— Отправили бы вы, товарищ старший лейтенант, куда-нибудь этого самого Лютикова. Работать не работает, и пользы от него никакой...

Помкомвзвода написал направление в госпиталь, но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа, и Лютикова оставили сторожить блиндаж.

Прошло еще несколько дней. Во взводе у меня выбыло сразу три человека и осталось

четыре, вместе с помкомвзводом. Командир взвода две недели уже как лежал в медсанбате. А работы как раз подвалило. Немцы разбили НП, и в одну ночь надо было его восстановить. Помкомвзвода, усатый, деловитый и сверхъестественно спокойный Казаковцев, пришел ко мне и говорит:

— Разрешите Лютикова на ночь взять. Майор велел в три наката НП делать и рельсами покрыть. Боюсь, не управимся.

— А он что, выздоровел?

— А бог его знает. Молчит все. Курить, правда, сегодня попросил. А раньше не курил. И обедать вставал.

— Что же, попробуйте.

Под утро я пошел посмотреть, как идут дела. Бойцы кончили укладку наката и засыпали его снегом. Казаковцев потирал руки:

— Управились-таки, товарищ инженер. В самый раз, в обрез. Через час уже светать будет.

Я спросил, как Лютиков. Казаковцев поморщился:

— Никак. Возьмет бревно, полсотни метров протащит и как паровоз дышит.

— Завтра же в санчасть отправьте.

На обратном пути мы зашли на КП третьего батальона — начался утренний обстрел. Решили пересидеть.

Комбат три Никитин — здоровенный, краснолицый, в кубанке набекрень — распекал своего начальника штаба:

— Третий раз уже приказ приходит. Третий раз, понимаете? А ты хоть бы хны... Начальник штаба называется. Адъютант стар-

ший... Бумажки все пишешь, донесения... А думать кто будет? Я? Замполит? У нас и так работы хватает.

Начальник штаба — сутулый, длиннолицый, с красными от бессонницы глазами — молча сидел и рисовал какие-то крестики на полях газеты.

— Ты понимаешь, инженер, третий раз приказ приходит — пушку эту чертову подорвать. Под мостом. А он и в ус не дует... Бумажки все пишет. Я целый день на передовой. Крутиков тоже. А он сидит себе в тепле да по телефону только: «Обстановочку, обстановочку». Вот тебе и обстановочка... Дохнуть не дает пушка окаянная...

Пушка, о которой говорил Никитин, давно уже не давала ему покоя. Немцы втащили ее в бетонную трубу под железнодорожной насыпью и днем и ночью секли никитинский батальон с фланга. Подавить ее никак не удавалось — боеприпасов в полку было в обрез, а десяток выпущенных по ней снарядов не причинил ей никакого вреда. Сейчас Никитин вернулся от командира полка после основательной головомойки и не знал, на ком сорвать злость.

Никитин набросился на меня:

— Тоже инженер называется... В газетах про вас, саперов, всякие чудеса пишут — и то взорвали, и то подорвали, а на деле что? Землянки начальству копаете.

Он встал, выругался и зашагал по блиндажу.

— Набрал себе здоровых хлопцев и тря-

сется над ними... Снимут три — четыре мины — и сейчас же домой.

Он остановился, сдвинув кубанку с одного уха на другое.

— Ну, ей-богу же, инженер... Помоги чем-нибудь. Вот тут вот сидит у меня эта пушка. — Он хлопнул себя по шее. — Долбает, долбает — спасу нет. Снарядов не хватает, подавить нечем... Взорви ее, сволочь проклятую. Ты же сапер. Дохнуть ведь не дает. Честное слово...

В голосе его прозвучали жалобные нотки.

— У меня всего три человека — сам видишь. Пропадут — что я делать буду? Ты же мне не пополнишь...

— Ну одного, одного только человека дай. А помощников я уж своих выделю. Общее же дело, не мое, не личное.

— Где я тебе этого одного достану? Трех вчера потерял. Куница в медсанбате, сам знаешь.

— А эти? — он подбородком кивнул в сторону угла, где сидели и курили саперы.

— Эти мне самому нужны. Один — минер, другой — плотник, третий — печник... Вот и все...

— А четвертый? Связной, что ли?

— Не связной, а так... Консервами отравился.

— Знаем мы эти консервы... — и, повернувшись к саперам, громко спросил: — Кто объелся, сознавайся?

Лютиков встал.

— Подойди, не бойся.

Лютиков подошел. Нескладный, неестест-

венно толстый от надетой поверх фуфайки шинели, он стоял перед Никитиным, расставив тонкие, до самых колен обмотанные ноги и ковырял лопатой землю между ног.

— Что же у тебя болит? А?

Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимая, чего от него хотят, и тихо сказал:

— Нутро.

— Так и знал, что нутро. Всегда у вас нутро, когда воевать не хотите.

Лютиков, подняв голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Никитина, пожевал губами, но ничего не сказал.

— Ну, а пушку подорвать можешь?

— Какую пушку? — не понял Лютиков.

— Немецкую, конечно. Не нашу же...

— А где она?

— Ты мне скажи, можешь или нет. Чего я зря объяснять буду.

— Ладно, — перебил я Никитина. — Хватит жилы тянуть из человека. Поправится, тогда... Да он к тому же и не сапер. А если тебе действительно саперы нужны, я могу через дивинженера взвод дивизионных сапер вызвать.

— Ты мне еще из Москвы сапер выпиши... Ну тебя...

Я встал.

— Казаковцев, поднимай людей.

Саперы зашевелились.

Лютиков стоял и ковырял землю лопатой.

— Давай, Лютиков, — крикнул Казаковцев, — без нас тут справятся...

Лютиков взял свой мешок и, согнувшись, вылез из землянки. На дворе светало. Надо было торопиться.

Я совсем уже было заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится.

— Кто там? — буркнул из своего угла Терентьев.

— Старший лейтенант спят уже? — раздалось из-за двери.

— Спят.

— Кто это? — высунул я голову из-под шинели.

— Да все этот... Лютиков.

— Чего ему надо, спроси.

Но Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал.

— Спят старший лейтенант... Понятно? Утром придешь. Не горит.

Я смертельно хотел спать, поэтому, разделив мнение Терентьева, повернулся на другой бок и заснул.

Утром, за завтраком, Терентьев сообщил мне, что Лютиков раза три уже приходил, спрашивал, не проснулся ли я.

— Позови-ка его.

Терентьев вышел. Через минуту он вернулся с Лютиковым.

— В чем дело, рассказывай.

Лютиков замялся, неловко козырнул.

— Я насчет этой... — с трудом выдавил он из себя, — пушки той...

— Какой пушки?

— Что комбат давеча говорил...

— Ну?

— Подорвать, говорил комбат, ее надо.

— Надо. Дальше?

— Ну, вот я и того... решил, значит...

— Подорвать, что ли? Так я тебя понял?

— Так... — еле слышно ответил Лютиков, не подымая головы.

— Но ты и тола-то еще не видел, зажигательной трубки. А еще туда же, взрывать!

— Это ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал, — в голосе его послышался упрек. — Обидел он меня сильно.

— Кто обидел?

— Комбат Никитин. Все вы, говорит, на нутро жалуетесь, когда воевать не хотите.

Я рассмеялся:

— Чепуха, Лютиков. Это он так брякнул, для смеху. Все мы знаем, что ты действительно нездоров. Сегодня в санроту пойдешь. Скажи Казаковцеву, у него направление есть. Ступай полечись.

Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня исподлобья, неловко повернулся, споткнувшись о валявшиеся на полу дрова, и вышел.

Целый день я пробыл в саперном батальоне на инструктивных занятиях. Вернулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с Казаковцевым.

— Чего ты здесь?

— Трубы майору чинил. Печка дымит.

— Исправил?

— А как же.

— Меня майор не спрашивал?

— Спрашивать не спрашивал, но там как раз комбат Никитин. Вас ругает, что пушку не хотите подорвать.

— Пусть говорит. Лютикова отправили?

Казаковцев только рукой махнул:

— Его отправишь! Выздоровел, говорит, я уже. Совсем выздоровел.

— Вот еще несчастье на нашу голову!

— Я его и так и этак — ни в какую.

— Бойцы в расположении или на задании?

— Во втором батальоне, колья заготовляют.

— Вернутся — пошлешь двоих с ним в санчасть. Пусть там решают, выздоровел он или нет. Ясно? Надоела мне эта канитель.

Разговор на этом кончился. Я постучался и вошел к майору. Он сидел на кровати в нижней рубашке и разговаривал с Никитиным.

— Вот, жалуется на тебя комбат, — сказал он, показав мне кивком на табуретку — садись, мол. — Пушку подорвать, говорит, не хочешь.

— Не не хочу, а не могу, товарищ майор.

— Почему?

— Людей нет.

— Сколько их у тебя?

— Трое и помкомвзвод.

Майор почесал голую грудь и вздохнул:

— Маловато, конечно.

— Не три у него, а четыре, — резко сказал Никитин, не глядя на меня.

— Четвертый не сапер, товарищ майор.

Майор искоса посмотрел на меня.

— А тут твой помкомвзвод усатый говорил, что этот самый «не сапер» сам предлагал пушку подорвать. Так или не так?

— Так, товарищ майор.

— Почему не докладываешь? А? — и вдруг разозлился. — Надо подорвать пушку, и все! Понял? А ну, зови его сюда. Скажи часовому.

Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу как-то скис. У него была слабость к лихим солдатам — поэтому он и Никитина любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков, горластого задиру, — а тут перед ним стоял неуклюжий, вялый Лютиков со съехавшим на бок ремнем и развязавшейся внизу обмоткой.

Майор встал, пристегнул подтяжки и подошел к Лютикову:

— Вид почему такой? Обмотки болтаются, ремень на боку, щетина на щеках.

Лютиков густо покраснел. Наклонился, чтобы поправить обмотку.

— Дома поправишь, — сказал майор. — А ну-ка, посмотри на меня.

Лютиков выпрямился и посмотрел на майора.

— Я слыхал, что пушку берешься подорвать? Правда?

— Правда, — совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора.

— А вот старший лейтенант, инженер, говорит, что ты саперного дела не знаешь.

Лютиков чуть-чуть, уголками губ, улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице.

— Плохо, конечно. Но пушку подорву.

Даже Никитин засмеялся:

— Силен мужик...

— Ну, а ползать умеешь? По-пластунски? — спросил майор.

Лютиков опять кивнул головой.

Вечером мы вместе с Лютиковым вязали заряды. Три заряда по десять четырехсотграммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в заряд, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур.

Он даже осунулся за эти несколько часов.

В два часа ночи Терентьев разбудил меня и сказал, что луна уже зашла и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает.

Я всунул ноги в валенки, надел фуфайку и вышел во двор. Лютиков ждал у входа с мешком за плечами.

— Готов?

— Готов.

Мы пошли. Ночь была темная, снег растаял, и за три шага ничего не было видно. Лютиков шел молча, взвалив мешок на спину. При каждой пролетавшей мине нагибался. Иногда садился на корточки, если очень уж близко разрывалась.

Никитин ждал нас на своем КП.

— Водки дать? — с места в карьер спросил он Лютикова, протягивая руку за фляжкой.

— Не надо, — ответил Лютиков и спросил, кто покажет ему, где пушка.

— И нетерпелив же ты, дружок, — засмеялся Никитин. — Народ перед заданием обычно штук десять папирос выкурит, а ты вот какой... непоседа...

Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом попросил веревку, чтобы обмотать его.

— Ты дырку в мешке сделай, — сказал я, — и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь.

Лютиков отколупнул от полена щепочку, обтесал ее, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил ее аккуратно и положил около печки. Надел маскхалат. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман. Запасную — в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, сунул в карман брюк. Делал он все медленно и молча. Лицо его было бледно.

В блиндаже было тихо. Даже связисты умолкли. Никитин сидел и сосредоточенно, затяжка за затяжкой, докуривал цигарку. За обшивкой звенел сверчок — мирно и уютно, как будто и войны не было.

— Ну что, пошли? — спросил Лютиков.

— Пошли.

Мы вышли — я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок. Где-то очень испуганно фыркнул пулемет и умолк.

Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь. Миновали железнодорожную будку. Лютиков шел сзади с мешком и все

время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался.

Дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились.

— Здесь, — сказал Никитин.

Лютиков скинул мешок.

Впереди ровной белой грядкой тянулась насыпь. В одном месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров пятьдесят — семьдесят.

— Смотри внимательно, — сказал я Лютикову, — сейчас она выстрелит.

Но пушка не стреляла.

— Вот сволочи, — выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между седьмой и восьмой ротами.

— Видал где?

Лютиков пощупал рукой бруствер, надел рукавицы, взвалил мешок на плечи и молча вылез из окопа.

— Ни пуха ни пера, — сказал Никитин.

Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти подходящие слова.

Некоторое время ползущая фигура Лютикова еще была видна, потом слилась с общей белесой мутью.

— Хорошо, что ракет здесь не бросают, — сказал Никитин.

Пушка выстрелила еще раз. Потом еще два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула одиночная мина.

Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. А казалось, что уже полчаса. Потом еще три, еще две...

Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным инстинктивно нагнулись. Сверху сыпались комья мерзлой земли.

— Молодчина! — сказал Никитин.

Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри.

Немцы открыли лихорадочный, беспорядочный огонь. Минут пятнадцать—двадцать длился он. Потом стих. Часы показывали половину четвертого.

Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно. Бело и мутно. Опять сели на корточки.

— Погиб, вероятно, — вздохнул Никитин. Он встал и облокотился о бруствер. — А пушка-то молчит. Ничего не видно...

Я тоже встал — от сидения замерзли ноги.

— А ну-ка, посмотри, инженер, — толкнул меня в бок Никитин. — Не он ли?

Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам и решительно полез через бруствер.

Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука протянута была вперед, другая прижата к груди... Шапки на нем не было. Рукавиц тоже. Запасная зажигательная трубка выпала из кармана и валялась рядом.

Мы втащили его в окоп.

Лютиков умер. Три малюсеньких осколка, крохотные, как сахарные песчинки (я видел их потом в медсанбате), попали ему в брюшину. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, и на третий день он умер.

За день до его смерти я был у него. Он лежал бледный и худой, укрытый одеялом и шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты. Но он не спал. Когда я подошел к его койке, он открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня:

— Ну?..

В голосе его чувствовалась тревога, и в черных глазах мелькнуло что-то, чего я раньше не замечал, какая-то острая, сверлящая мысль.

— Все в порядке! — нарочито бодро и всеми силами стараясь скрыть фальшь этой бодрости, сказал я. — Подлечишься мало-мало — и обратно к нам.

— Нет, я не об этом...

— А о чем же?

— Пушка... Пушка как?

В этих трех словах было столько волнения, столько тревоги, столько боязни, что я отвечу не то, о чем он все эти дни думал, что, если б он даже и не подорвал пушку, я б ему сказал, что подорвал. Но он подорвал-таки ее, и не только ее, а и часть железобетонной трубы, так что немцы ничего уже не могли установить там.

И я ему сказал об этом.

Он прерывисто вздохнул и улыбнулся. Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая — тогда, у майора

в землянке, вторая — сейчас. И хотя они обе почти совсем не отличались одна от другой — чуть-чуть только приподнимались уголки губ, — в этой улыбке было столько счастья, столько... Я не выдержал и отвернулся.

Через несколько дней немцы оставили Мамаев курган. Их загнали за овраг Долгий.

Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку, вернее остатки искореженного лафета, и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у Лютикова в бумажнике...

В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя, когда нас перебросили уже на Украину.

У Лютикова не было семьи, он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного Знамени, до сих пор хранится в полку.



## СУДАК

1

Вергасов выехал из орешника, и впереди под холмом показалась Гусинка, село, в котором расположилась третья рота. Серко, избавясь наконец от непрестанно стегавших его по глазам ореховых веток, сразу прибавил шагу.

Было жарко, как и положено на Украине в июле месяце, солнце стояло почти над самой головой, но Вергасов только что выкупался, дважды переплыл речку туда и обратно и чувствовал себя сейчас свежо и бодро. Собственно говоря, и без купания у него не было оснований чувствовать себя иначе — ему было двадцать пять лет, здоровьем природа его не обидела, в полку его любили, в штабе дивизии считали одним из лучших командиров батальона. Вчера к тому же закончились инспекторские занятия, к которым готовились чуть ли не месяц, закончились неплохо, даже хорошо — комдив отметил батальон Вергасова в своем заключительном слове, — и теперь, после месяца напряженной работы, можно было, в ожидании отправки на фронт, немного отдохнуть.

Правда, в армии отдых — понятие условное, особенно на переформировке, — что бы там ни было, надо копать траншеи и вообще заниматься каким-то делом, — но все-таки это не инспекторские занятия.

Сейчас Вергасов объезжал роты, хотя большой надобности в этом не было — просто захотелось прогуляться.

Проехав мостик, Вергасов перешел на галоп и, разгоняя во все стороны неистово кудахтавших кур, вихрем пронесся по улице. Стоявший у штабной хаты часовой, еще издали завидев комбата, сразу же отвернулся от хозяйской дочки Мариси, чистившей во дворе картошку, быстрым движением поправил пилотку, гимнастерку и ремень и застыл с безразличным выражением лица, которое

считается почему-то необходимым для часового.

Вергасов осадил коня:

— Где старший лейтенант?

— У себя, товарищ капитан, — не меняя выражения лица, ответил боец. — Позвать?

— Позвать.

— Дежу-у-рный!

В дверях показался молодой круглолицый, дожевывавший что-то сержант. Увидав комбата, он скрылся, почти тотчас появился опять и рысцой, застегивая на ходу ремень, подбежал к Вергасову.

— Спал небось?

— Никак нет, товарищ капитан.

— А чего морда помятая?

Сержант пощупал ладонью лицо, словно проверяя, действительно ли оно помятое — на самом деле оно было по-молодому свежим и гладким, — и сказал:

— А это так, товарищ капитан... от усталости.

— От усталости. Знаем мы вашу усталость. Спать по ночам надо, сержант. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан. — Сержант понимающе улыбнулся и зачем-то даже козырнул. Часовой тоже ухмыльнулся.

— Позови-ка старшего лейтенанта.

Сержант сорвался с места и, придерживая рукой звенящие на груди медали, побежал звать командира роты.

Вергасов полез за портсигаром, раскрыл его и протянул часовому.

— Закурим, что ли?

— Мне нельзя, товарищ капитан. — Лицо часового приняло опять безразличное выражение.

— А ты на после-обеда. Бери, бери, не бойся. «Казбек», в штадиве вчера давали.

Боец осторожно, точно боясь запачкать другие папиросы, вынул одну и сунул за ухо.

— А тебе можно? — Вергасов повернулся к сидевшей на крылечке Марисе, хитроглазой краснощекой хозяйской дочке.

— Смиетесь, чи шо?

— Боишься, что румянец потеряешь? А?

Вергасов въехал в калитку и остановился над Марисей.

— А ну вас, товарищ капитан! — Марися притворилась, что испугалась лошади, и слегка отодвинулась.

Вергасов наклонился и шутливо пустил ей дым в лицо:

— Замуж тебя, Марися, отдать надо, вот что. А то вот уйдем скоро, совсем скучно станет.

Марися прыснула и уперлась ладонью в потную лошадиную грудь — не подходи, мол.

— И не соромно вам, товарищ капитан!

— Ну ладно, принеси тогда водички.

Марися ловко повернулась на пятках и побежала в хату.

В калитку входил командир роты, любимец Вергасова, старший лейтенант Коновалов. Сталинградец, в прошлом моряк, до безрассудства смелый и прекрасно знавший, что за это ему многое прощается, он давно уже был бы в дивизионной разведке, если бы не Вергасов,

который не отпускал его от себя. Коновалов был катастрофически ряб, что нисколько не мешало ему быть «первым парубком на селе» благодаря силе, ловкости и твердой вере в свою неотразимость.

— Старший лейтенант Коновалов прибыл по вашему приказанию, — отчеканил он, неторопливо поднося согнутую ладонь к правой брови и щелкнув шпорами, с которыми никогда не расставался, так же как и с тельняшкой и морским ремнем — сочетание несколько забавное, но и девушкам и самому Коновалову весьма нравившееся.

Вергасов глянул на тельняшку:

— Опять?

— Поправился на деревенских харчах, не застегивается, — одними глазами улыбнулся Коновалов, показывая, что пытается, но никак не может застегнуть пуговицу воротничка.

— И бляха флотская.

Коновалов снова улыбнулся:

— Что поделаешь, не выдает ОВС ремня, сколько раз просил.

— А люди где?

— Работают люди.

— Работают?

— А как же. Вторую линию обороны делают. Я им лоботрясничать не разрешаю.

— И этот тоже работает? — Вергасов показал на проходившего по соседнему участку солдата с двумя ведрами в руках.

— Этот? — Коновалов стрельнул глазами в сторону солдата. — Так это ж Качура. Вчера консервами отравился. Я ему освобождение дал.

— Ну смотри, — Вергасов наклонился к Марисе, которая давно уже стояла с кружкой в руке.

— Пойдешь за Коновалова, Марися? А?

— От пристали. Да берите вже воду...

Капитан с аппетитом выпил холодную воду и, возвращая кружку, сделал вид, что хочет схватить и посадить Марисю в седло. Марися расхохоталась и отбежала к крыльцу.

— Ох, боюсь, Коновалов, не вырвешься ты отсюда, — рассмеялся Вергасов и дружелюбно сбил пилотку с его головы. — Так, говоришь, работают?

— Работают.

— Пойдем, что ли, посмотрим? — Вергасов сделал движение, будто хочет соскочить с коня.

— Пойдем, чего же, — невозмутимо ответил Коновалов.

На самом деле коноваловская рота после тактических занятий поголовно отдыхала: И Вергасов знал это — он только что проезжал мимо второй линии обороны, и там ни души не было, — и Коновалов тоже знал, что капитан обо всем догадывается, и оба они сейчас играли в игру, и обоим она доставляла удовольствие, так же как и без конца повторявшийся эпизод с тельняшкой и бляхой.

«Комроты — дай бог! — подумал Вергасов, глядя на подтянутую, но не слишком, а в меру, как и положено настоящему офицеру-фронтовику, фигуру Коновалова. — С ним бы до Берлина...»

А Коновалов в свою очередь подумал: «И по-

везло мне, черт, на комбата. За ним, как за стеной каменной...»

Вергасов посмотрел на часы:

— Нет, не успею, третий час уже. Надо еще во вторую съездить. Отремонтировали там мостик?

— Так мимо мельницы скорей, — ответил Коновалов.

Вергасов понял, что мостик как был, так и остался, но ничего не сказал и тронул поводья.

— Бувай, Марися. Подумай, о чем говорили, — и выехал за калитку.

2

Ильин — недавно прибывший в полк командир второй роты — сидел на завалинке и писал. Он не заметил, как подъехал Вергасов.

— Прохлаждаетесь? — спросил Вергасов.

Ильин вздрогнул и встал:

— Письмо пишу.

— Письмо пишете. А люди где?

— Люди отдыхают.

— Отдыхают?

— Отдыхают.

Вергасов оглядел Ильина с головы до ног — всю его тощую фигуру в широкой, вылезшей сзади из брюк выцветшей майке:

— Приведите себя в порядок, товарищ лейтенант.

— Простите... — сказал Ильин и, заправляя майку в брюки не в том месте, где она вылезла, пошел к хате.

Он почти сразу опять вышел, в гимнастерке

и пилотке. Гимнастерка была коротка и с заплатой внизу, пилотка же сидела ровно посреди головы, как носят только люди, никогда не бывавшие на фронте.

— Теперь объясните мне, почему у вас рота отдыхает, а не работает?

— Вчера кончились проверочные занятия, — сказал Ильин, — люди устали. Вот я и решил...

— Я не спрашиваю вас, что вы решили. Я спрашиваю, почему люди не работают.

— Я объясняю. Вчера кончились проверочные занятия...

— Это было вчера. А я вас спрашиваю, почему люди сегодня не работают? Вы понимаете? Не вчера, а сегодня.

Ильин, очевидно, не понял, так как молча пожал плечами.

— И не пожимайте плечами, когда вас спрашивают. В армии плечами не пожимают. Вы сейчас в армии, а не у себя дома. Ясно?

— Ясно, — не глядя на капитана, ответил Ильин, и некрасивое, с близорукими глазами и слишком большим лбом лицо его покраснело.

«И чего это он всегда в сторону смотрит, — подумал Вергасов. — С ним говоришь, а он всегда куда-то в сторону».

— Выстройте-ка людей, — Вергасов посмотрел на часы. — Пять минут сроку даю.

Капитан соскочил с лошади, не глядя кинул поводья солдату и зашагал по двору.

Ильин попал к нему в роту каких-нибудь две недели тому назад. Попал на место подорвавшегося на мине Кузовкина, опытного боевого командира, с которым Вергасов провоевал

весь Сталинград. Вергасов собирался заменить его Сергеевым, толковым парнишкой из командиров взводов, но ему прислали этого Ильина, который и пороху-то никогда не нюхал, — вот и воюй с ним.

Собственно говоря, пока Вергасову особенно нечего было жаловаться на Ильина. Рота от других не отставала, на проверочных занятиях прошла тоже неплохо, но при чем тут Ильин? Вытянули командиры взводов и сами солдаты. А Ильин? Как все здоровые и веселые люди, Вергасов любил таких же веселых и здоровых, как он сам. Поэтому он любил Коновалова, с которым и воевать хорошо, и выпить можно, и песню хорошую спеть. Парень как парень. А этот? Подойти отрапортовать и то не может. Руки как грабли, ноги журавлиные, голенища болтаются. С солдатами разговаривает, точно одолжения у них просит. Рыба какая-то малокровная, а не командир...

Ильин вернулся и доложил, что рота сейчас будет выстроена.

— А документация и отчетность у вас в порядке? — спросил Вергасов.

— В порядке, — сказал Ильин.

— Покажите-ка.

Ильин направился в хату.

— Вы заместителя пришлите! — крикнул Вергасов вдогонку. — Чего вы сами все бегаете?

— Он болен, товарищ капитан. Приходится самому.

«Конечно ж, самому. А другого на его место временно назначить не додумается».

Документация оказалась в полном порядке. Все было написано чернилами, четким красивым почерком.

— Вы что же, и на передовой собираетесь чернилами писать?

— Если не будет чернил, буду карандашом, — попытался улыбнуться Ильин.

Вергасов, почти не держась рукой, вскочил в седло и вполоборота кинул Ильину:

— Позанимайтесь сейчас строевой. Лично вы. Ясно? Завтра приду, проверю.

За воротами он свернул влево и направился к Коновалову, но на полпути вспомнил, что в 18.00 нужно отправить в штадив карту обороны батальона, и, выругавшись про себя, затрусил рысцой в сторону мельницы.

«Куда б его сплавить, черт возьми? — думал он дорогой. — Поговорить, что ли, с Петрушанским? Наверно, им в штабе такой тип нужен. Геморройной работы у них хватает. А я бы Сергеева на его место поставил. Ей-богу, поговорю с Петрушанским».

## 3

На другой день Вергасов приехал все-таки во вторую роту. Зачем — он и сам точно не знал. Проверять строевую подготовку не было никакого смысла — люди готовились не к параду, а к войне, да и батальон по строевой считался первым в полку, но погода стояла хорошая, проехаться верхом приятно, а на обратном пути можно и к Коновалову заглянуть. Одним словом, поехал.

Ильина он застал в поле. Человек десять

солдат, без рубашек и совсем коричневые от загара, сидели вокруг него кружком, а он что-то рассказывал.

Когда Вергасов приблизился, все встали и командир роты отрапортовал, что в таком-то взводе идут политзанятия. Голос у Ильина был глухой, тихий, и, когда он докладывал, казалось, что он в чем-то оправдывается. В одном месте он запнулся и, наклонив голову и наморщив брови, три раза повторил одно и то же слово.

— Вольно, — сказал Вергасов и соскочил с коня. — Стреножьте-ка его, ребята! — И, повернувшись к Ильину, спросил: — Какая тема?

— Занятий? — спросил Ильин.

— Конечно, занятий. А чего ж?

— Французская революция.

— Какая, какая революция? — не понял Вергасов.

— Французская.

— Почему французская?

— Просто заинтересовались бойцы, я вот и решил...

— Опять решили. Все вы решаете. Вчера отдохнуть решили, сегодня заниматься историей. А воевать кто будет? А?

Ильин, по своему обыкновению, смотрел через плечо комбата куда-то в пространство.

— Воевать кто будет, я вас спрашиваю? Дядя?

Вергасов прошелся взад и вперед. Солдаты стояли и молчали.

— Гранаты есть учебные?

— Есть, — ответил Ильин.

— Будем гранаты бросать. Пошлите за гранатами.

Пока один из солдат бегал в село, Вергасов шагал взад и вперед и ни с кем не разговаривал. Бойцы молча курили. Солдат вернулся, Вергасов взвесил на руке деревянные чурки, скинул ремень, выбрал гранату потяжелей и, разбежавшись, кинул ее в небо.

— Вот это да!.. — вырвалось у кого-то из солдат.

Граната упала далеко за кустами. Отмерили, вышло шестьдесят восемь шагов.

Потом по очереди кидали солдаты, кидали неплохо, но ни один не докинул до того места, куда упала граната капитана. После каждого броска мерили расстояние шагами, и Ильин записывал в записную книжку. Скованность и неловкость первых минут рассеялись сами собой. Солдаты, как всегда во время физических упражнений, веселились, смеялись, по нескольку раз «перебрасывали», желая побить комбата, но побить так и не смогли. Вергасов бросил еще раз, на этот раз ближе, все на него дружески зашикали, а он, потирая плечо, сказал: «Без тренировочки, братцы, и водки больше стакана не выпьешь». Все расхохотались.

Вергасов поднял с земли ремень, затянул его потуже — он гордился своей тонкой талией — и поправил портупею.

— Что ж... Неплохо. Думал, что хуже, — и, будто только сейчас заметив стоявшего в стороне с записной книжкой в руках Ильина, спросил его:

— А вы что же?

Ильин глянул на капитана и стал засовывать записную книжку в боковой карман. Он был туго набит, и книжка никак не хотела влезать. Солдаты сразу умолкли. Вергасов выбрал из гранат одну и подал ее Ильину:

— Прошу.

Тот взял и отошел на несколько шагов.

— Ремешок бы скинули... — посоветовал вполголоса кто-то из бойцов.

Ильин торопливо снял ремень и вдруг побежал и бросил гранату. Бросил неловко, как-то по-женски, через голову. Она медленно и словно нехотя завертелась в воздухе, упала шагах в тридцати и откатилась в сторону.

Солдат сбегал и принес ее. Расстояния никто не мерил. Ильин долго и ни на кого не глядя застегивал ремень.

## 4

В коноваловской хате, самой просторной и удобной, праздновалась годовщина вступления Вергасова на должность командира батальона. На торжество приглашены были даже командир полка, замполит и начальник штаба. Они, правда, посидели недолго — у майора Филиппова, съевшего что-то жирное, начался обычный приступ печени, и замполит увел его, а начальника штаба вызвали срочно по телефону, и он больше не вернулся.

Осталась одна молодежь: комбат, один хохотун-сибиряк Платонов, знаменитый на весь полк тем, что после бани всегда выбегал на снег; маленький похожий на цыгана Хейломский — командир второго батальона; коман-

диры рот, за исключением Ильина — он дежурил по батальону, — и человек пять командиров взводов.

С уходом начальства стало проще и веселей. Скинули ремни, а затем и гимнастерки, затянули «Хмелю», «Йихав козак на вийноньку», «По долинам и по взгорьям», а когда надоело петь, начали бороться, делать стойки, мосты и, упершись в угол стола локтями, с налитыми кровью лицами пытались отогнуть друг другу руки. Коновалов, не упускавший любого предлога, чтобы показать свою мускулатуру, снял майку и даже в минуты отдыха принимал напряженные позы, которые наиболее выгодно показывали его лятусы, бицепсы и грудные мышцы.

Потом пошли купаться — ночь была теплая и лунная, — и Вергасов с Коноваловым плавали наперегонки, ныряли, фыркали, брызгались; Платонов, закинув руки за голову, лежал без движения на воде, выставив свой громадный живот, и говорил, что может так даже спать; Хейломский изображал, как плавают женщины, гребя сразу двумя руками и шумно хлопая ногами по воде. Одним словом, веселились вовсю.

Часам к двенадцати все устали и постепенно разбрелись по домам. Вергасов пошел ночевать к Коновалову. Они разделись, стали укладываться, и оказалось, что ни тот, ни другой спать не хотят.

— Может, еще по маленькой?

Коновалов подошел к столу и налил по полстакана.

В окно постучали.

— Кто там?

— К вам можно, товарищ капитан? — донесся снаружи голос Ильина.

— Заходи.

В сенях хлопнула дверь, что-то упало, закудахтала курица. Наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку, вошел Ильин.

— Чего там? — недовольно спросил Вергасов.

— Из «Гранита» звонили.

— Ну?

— К семи ноль-ноль к тридцать первому вызывают.

— И это все?

— Все.

— И для этого вы специально пришли?

— Да.

Вергасов протяжно свистнул и отодвинул ногой стоявший у стола табурет.

— Садитесь-ка, раз уж... — и не закончил.

Ильин снял пилотку и сел.

— Водку пьете?

Ильин пожал плечами:

— Я ж дежурный, товарищ капитан...

Вергасов потянулся за бутылкой.

— Ничего, я разрешаю. Сегодня разрешаю.

Вергасов налил, и Ильин не отрываясь выпил весь стакан.

У него выступили слезы, и, чтобы скрыть их, он низко наклонился над тарелкой. Коновалов весело рассмеялся:

— Сильна, брат?

— Сильна... — с трудом ответил Ильин, поперхнулся и вдруг закашлялся. Кашлял он

долго, всем телом, и на лбу у него надулись жилы. Коновалов перестал смеяться и смотрел на него с удивлением и даже с интересом.

— Ты что, болен? А?

Ильин махнул рукой.

— Не в то горло попало. Бывает...

Коновалов снял со стены кобуру, вынул оттуда наган — он презирал пистолеты и свой старенький наган не менял ни на что, — уселся на кровати, поджав ноги, и, сказав: «Оружие прежде всего любит чистоту», начал его разбирать.

Вергасов доедал винегрет. Ильин сосредоточенно ковырял ножом край стола. Руки у него были большие, белые, с длинными красивыми пальцами и тонкими, совсем немужскими запястьями.

— Вы играете на скрипке? — неожиданно спросил Вергасов.

— Нет. — Ильин как будто удивился.

— А я думал, играете.

— Нет, не играю.

— На чужих нервах только, — откликнулся с кровати Коновалов и рассмеялся.

— А кем вы до войны были? — спросил Вергасов.

— Ихтиологом.

— Кем?

— Ихтиологом. Ихтиология — это наука о рыбах.

— О рыбах? — задумчиво сказал Вергасов. — Институт, значит, кончали?

— Кончал.

— А мне вот не пришлось... Все с винтовкой больше...

— Успеете еще, — улыбнулся впервые за все время Ильин, посмотрел на висевшие на стене голубенькие ходики и встал:

— Я пойду, товарищ капитан. Пора.

Вергасов потянул его за рукав:

— Успеете еще. Садитесь.

Вергасов исподлобья взглянул на Ильина и неожиданно почувствовал, что ему хочется с ним разговаривать. Он был в той приятной стадии опьянения, когда хочется разговаривать — не петь, не буянить, не показывать свою силу, а именно разговаривать. Причем, как это ни странно, именно с Ильиным. Он не понимал этого человека, не понимал, как, чем и для чего тот живет. Молчаливость и замкнутость Ильина он принимал за гордость, неумение — за нежелание или скорее даже за лень, застенчивость — за презрение к окружающим, — в общем он не понимал его да, по правде говоря, не очень до сих пор и интересовался им. Теперь же в нем заговорило любопытство. Подперев рукой голову — она стала вдруг тяжелой и не хотела сама держаться, — он смотрел на Ильина, на его длинное, почему-то всегда усталое лицо, на большой, с залысинами, от которых он казался еще бо̀льшим, лоб, на его белые, с длинными пальцами руки. И Вергасову захотелось сказать что-нибудь приятное этому человеку, не слыхавшему от него до сих пор ни одного теплого слова — только замечания и указания. Сидит вот и бумажку какую-то на мелкие клочки рвет.

— Вы откуда родом? А? — спросил он, не зная с чего начать.

— Из Ленинграда, — не поднимая головы, ответил Ильин.

— Красивый город. Я там был. В тридцать девятом году, когда на финскую ехал. Очень красивый город, ничего не скажешь.

— Красивый, — подтвердил Ильин.

— Один только день был. Петропавловскую крепость, Невский проспект видал. И коней этих знаменитых. Забыл, как тот мост называется.

— Аничков мост.

— Красивые кони. Здорово сделано. Совсем как живые.

— Красивые... — согласился Ильин, сгребая разорванные клочки бумаги в кучку на край стола.

Оба помолчали. Коновалов протяжно зевнул:

— Я, кажется, спать буду, капитан. Не собираешься?

— Оставь мне тюфяк. Я на тюфяке лягу.

— Ты начальник, — Коновалов аппетитно потянулся, — тебе нельзя. Тебе кровать полагается.

Через минуту он уже храпел.

— Хороший парень, — сказал Вергасов. — И офицер толковый.

Ильин посмотрел на спящего Коновалова, кивнул головой и встал:

— Я пойду, товарищ капитан. Третий час уже.

— Да куда вы рветесь? Садитесь. Кто там с вами дежурит?

— Кривенко, командир взвода.

— Вот пускай и посидит за вас. А мы с вами еще по одной.

— Спасибо, мне не хочется.

Вергасов, ничего не сказав, разлил остаток водки в стаканы и протянул один Ильину:

— Нельзя отказываться, когда начальство предлагает. Валяйте.

Ильин покосился сначала на стакан, затем на Вергасова, вытер зачем-то тыльной стороной руки рот, сделал несколько глотков и снова поперхнулся.

— Не могу больше... — Он сконфуженно улыбнулся.

Воцарилась пауза. В сенях завозились и закудахтали куры.

Вергасов прошелся по комнате, вернулся к столу, заткнул пустую бутылку пробкой и зачем-то поставил ее на комод. Ильин искал свою пилотку.

— Вот она, ваша пилотка, на кровати.

Ильин надел пилотку, помялся:

— Так не забудьте, в семь ноль-ноль.

— Не забуду.

Ильин козырнул и вышел.

Вергасов несколько минут ковырял вилкой винегрет, потом, подойдя к окну, распахнул его. На дворе светало, хотя солнце еще не взошло. С речки тянуло сыростью. Широкая деревенская улица была пуста, и только в самом ее конце, около церкви, маячила долговязая фигура Ильина, которого за километр можно было узнать по смешной, подпрыгивающей походке.

«Завтра же схожу к Петрушанскому», — решил Вергасов.

Он посмотрел на стол, который не хотелось сейчас убирать, прикрыл его газетой и, не раздеваясь, растянулся на кровати.

5

Это была последняя мирная ночь батальона. На следующую он выступал на фронт. А еще через две оказался на передовой.

Шла самая напряженная фаза боев. После долгого затишья наши войска форсировали Донец, захватили плацдарм и теперь расширяли его. Сплошной линии фронта не было. Была река с понтонными мостами, которые нещадно бомбились немцами, было одно накрепко захваченное большое село Богородичное, а остальное — рощи, лесочки, овраги, высотки, балки — заполнили передвигающиеся в разные стороны и часто находящиеся друг у друга в тылу части немцев и наши, которые то сталкивались, и тогда начиналась перестрелка, то расходились и опять сталкивались, только уже с другими отрядами, окапывались, потом получали приказ и куда-то перебрасывались, опять натыкались на противника — одним словом, обстановка складывалась не слишком ясная, хотя и довольно обычная для первых дней боев на незнакомой местности.

Вергасов получил приказание захватить рощу «Тигр», в двухстах метрах западнее дороги Богородичное — Голая Долина, окопаться там, занять оборону и силами батальона

разведать противника в районе высоты 103,2 и Г-образного оврага.

Вергасов больше всего в жизни любил такого рода операции, когда надо что-то искать, хитрить, когда нет этих чертовых, развитых в глубину оборон, с их бесконечными минными полями и заранее пристрелянными огневыми точками, когда авиация противника ничего не может сделать, так как сама не знает, где мы, где они, — короче, когда есть простор для тебя и для твоей инициативы.

Однако с первых же шагов Вергасова постигло разочарование. Тщательно продуманный план захвата рощи применить не пришлось — немцев в ней не оказалось, и, кроме полусожженного «Бюссинга» и десятка ящиков со сгущенным молоком, трофеев тоже не было. Ну что ж, тем лучше. Вергасов в темноте занял оборону и тут же выслал разведку на высотку и в овраг. Разведчики вскоре приволокли «языка» — молоденького, очень хорошенького белобрысого мальчика — ефрейтора, подстриженного под бокс, который сказал, что немцы и не подозревают, что у них совсем под боком наш батальон, и даже считают, что Богородичное опять, мол, занято ими. В овраге, по его словам, не было никого, а на высоте 103,2 стоят только два пулемета — самый правый фланг правофлангового батальона 136-го пехотного полка. Что находится правее, он не знает, — кажется, ничего. Парень говорил охотно и как будто не врал — у комбата был наметанный глаз.

Вергасов сразу же, еще на допросе немецкого ефрейтора, решил: высотку, пока темно,

захватить, не дожидаясь приказания командира полка, а о результатах разведки и принятом решении донести в штаб полка связным.

— Фриценка накормить и в штаб полка. Слышишь, Пастушков? А командиров рот ко мне.

Пастушков — пожилой и самый мудрый в батальоне, а может быть, и во всем полку солдат-ординарец — молча встал и шлепнул пленного пониже спины — пошли, мол.

Віргасов посмотрел на часы. Одиннадцать. До начала рассвета три часа. Успею. Он растянулся на мягкой пахучей траве. Роты хватит. Да какое там роты — двух взводов хватит. Даже одного, если б с Коноваловым послать. Но на такую мелочь Коновалова не стоит. В самый раз Ильина попробовать. Пускай привыкает. С места в карьер. Операция несложная, людей у него пока много, командиры взводов толковые — сами за него все сделают. Раз уж не удалось его Петрушанскому спихнуть, пускай помаленечку привыкает. А тут все-таки, хотя задача ерундовая, но есть какая-то ответственность, да и вообще лучше учиться воевать, держа инициативу в своих руках, чем подчиняясь воле противника. Вергасов не был сторонником того, что новичку надо вживаться в войну постепенно. Нет, как учить плавать — толкнуть в воду и все, только на мелком месте, чтобы не захлебнулся. А сейчас такое мелкое место как раз и подвернулось.

Пришли командиры рот. Вергасов перевернулся на живот:

— Ложись, хлопцы!

Командиры растянулись. Лиц их не было видно, лишь у Коновалова, как у кошки, глаза при каких-то поворотах головы отсвечивали красным.

— Дело, значит, такое, — начал Вергасов. — Будем сопку захватывать. Ту самую — 103,2. Фриц говорит, там всего два станковых пулемета. Желательно захватить их так, чтобы они ни одного выстрела не сделали. Утром фрицы проснутся, а мы по ним — из их же пулеметов. К тому времени и о дальнейших действиях дам знать, с хозяином свяжусь, — Вергасов развернул карту и, присвечивая фонариком, показал на ней высоту, овраг и предполагаемое расположение противника. — На всю операцию даю три часа. К двум, когда начнет светать, все должно быть кончено. Ясно?

— Чего ж неясно? Конечно, ясно, — процедил сквозь зубы Коновалов. — Я тебе и к часу кончу.

— К часу мне не нужно. А к двум. И поручаю я это второй роте, лейтенанту Ильину. Вы поняли задачу, Ильин?

— Понял, — тихо ответил Ильин.

— Если есть вопросы, прошу.

— Нет, вопросов нет.

— Насчет огня. В случае недоразумений поддерживать огнем будет Круглов, первая рота. Слышишь, Круглов?

— Поддержим, а как же.

— Ну вот и все.

— Разрешите идти тогда? — Ильин встал.

— Валяйте. Световые сигналы прежние, но

старайтесь ими не пользоваться. О захвате высотки донесите связным. Идите.

Ильин, хрустя ветками, направился к опушке.

— Завалит как пить дать! — проворчал Коновалов.

— Почему завалит? — спросил Вергасов.

— Вот увидишь.

— Не обязательно, — вставил Круглов, постоянный оппонент Коновалова. Достаточно одному из них сказать «да», как другой сейчас же говорит «нет».

— А я говорю — завалит.

— А ты не каркай.

— Я не каркаю, просто говорю. Нельзя давать человеку, да еще такому, первое задание ночью. Первое задание и засветло завалить ничего не стоит. А тут... Да он вместо высотки нашу рощу опять захватит.

— Чепуха, — сказал Вергасов. — У него Сергеев, у него Жмачук, ребята все опытные.

— Ну, это твое дело, — сказал Коновалов. — Ты комбат, а не я. Не мне отдуваться. Можно идти спать?

— Иди.

— Бувайте. Авось ты меня своими пулеметами не разбудишь.

Звякнув шпорами он пошел. Круглов тоже отправился. Вергасов остался лежать.

«А может, Коновалов и прав, черт его забери? Может, лучше было Круглову поручить? Напутает там Ильин, растеряется, подымет трескотню, и вся затея с сопкой провалится. Ведь это у них первая стычка после Сталинграда, первая — после пятимесячного пере-

рыва. И вдруг в грязь лицом. Не скажешь потом, что не ты, а командир роты виноват...»

Вергасов поднялся и начал вытряхивать забравшегося под рубаху муравья.

Ну да черт с ним. Раз отдал приказ — значит, отдал. И он опять стал убеждать себя, что процентов двадцать роты как-никак сталинградцы, что там Сергеев и Жмачук, что вообще не держать же роту в конце концов все время в резерве, раньше или позже придется и ей вступить в бой. Но веселое и приподнятое настроение пропало. Когда начальник штаба пришел доложить, что связной в штаб полка послан, Вергасов долго его отчитывал, придравшись к тому, что послали не Агеева, а Силина, хотя никакой разницы между Агеевым и Силиным не было — оба были исполнительными, хорошими связными.

6

Всю дорогу от села Червонотроицкое, где находился на формировке батальон, до Донца, сначала в вагонах, а позже на марше, Ильин думал об одном. Все его мысли сводились к одному слову — началось! И с каждым днем, каждым часом, каждой минутой это начало неизбежно приближалось. И вот подошло вплотную.

Ильин знал, что молодым, веселым ребятам и обожженным фронтовикам, как Вергасов и Коновалов, он — молчаливый, застенчивый, не привыкший к военным условиям, комнатный человек — мог быть просто чужд и неприятен.

Но от того, что он понимал это, ему не было легче. Не было потому, что и Вергасов, и Коновалов ему нравились, нравились своей веселостью, способностью всегда и везде чувствовать себя свободно и ловко, не унывать при любых обстоятельствах, ясно и просто относиться друг к другу. Солдаты их любили, уважали и немного побаивались. Начальство тоже любило, и они знали, как себя с ним держать — не слишком развязно и не слишком вытягиваясь, спокойно, с достоинством офицеров, знающих себе цену. Между собой же, когда оставались одни, дурачились, как мальчишки, — возились, хохотали, ссорились из-за всякой ерунды и тут же мирились. Одним словом, хорошие и простые ребята. Он сам хотел быть таким, но знал, что никогда таким не будет.

В полку — Ильин сразу это понял — он никому не пришелся по душе. Он не умел, да и не хотел скрывать свои недостатки, и это определило отношение к нему окружающих. Офицеры полка — в основном молодежь со всеми присущими ей слабостями — после двух — трех попыток к сближению, из которых ничего не вышло, потеряли к нему интерес. Кто-то в шутку прозвал его Судаком, и это прозвище настолько прочно к нему прилипло, что за глаза его иначе и не называли. На совещаниях он сидел всегда в стороне, молча, и к нему никто не подходил. С солдатами он не мог найти общего языка — так ему, во всяком случае, казалось. Приказывать и требовать он не умел, никак не мог отделаться от «пожалуйста» и «попрошу вас», а в отношениях со старши-

ной — хитрым и оборотистым малым — просто становился в тупик.

И только с одним Сергеевым, командиром первого взвода, он чувствовал себя более или менее свободно. Это был молоденький — лет на шесть моложе самого Ильина — парнишка, с девичьим розовым личиком, без малейших признаков усов и бороды, что доставляло ему немало огорчений, но неглупый, смелый, дважды раненный и имевший уже орден за Сталинград. В полку с ним считались, и, если бы не отсутствие звания — он был только сержантом, — его бы назначили командиром роты, о чем он давно тайно мечтал. Однако, несмотря на то что место это досталось не ему, а неопытному и необстрелянному Ильину, он, увидев его неприспособленность, взял его под свою защиту, хотя был и подчиненным, и младшим по возрасту. И нужно сказать, сделал он это очень деликатно.

Самое важное было — поддержать авторитет командира, причем командира, который авторитетом своим не очень дорожил и, пожалуй, не понимал всей его необходимости на фронте. Сергеев видел, что Ильин в военно-профессиональных вопросах разбирается так же плохо, как в военно-бытовых, но ни самому Ильину, ни солдатам этого не показывал. Он просто приглашал Ильина к себе на занятия, для проверки, мол, как они идут, и на этих занятиях учил командира вместе с солдатами.

Ильин это понимал, но словами благодарность свою никогда не выражал. Бойцы же, быстро раскусившие хитрость сержанта, сначала немного посмеивались и недоумевали,

а потом привыкли и даже полюбили нового командира роты. Они, впрочем, не очень верили в его военные таланты и на любое задание предпочли бы идти с Сергеевым, Жмачуком или даже с Вовком — третьим командиром взвода, крикуном, хотя и опытным командиром. Но мягкость Ильина и его справедливость не могли им не нравиться.

Первая черта, впрочем, не очень нравилась Сергееву. Он воевал уже третий год и считал себя—и это так и было—хорошим и умеющим разбираться в бойцах командиром. Он любил своих солдат, и они его, зато, когда надо, мог и прикрикнуть, и отчитать, и дать, как говорится, чёсу. Ильин ничего этого не умел. Но не в этом беда — есть командиры, которые никогда не повышают голоса и которых солдаты боятся как огня. У Ильина было другое — самое опасное для него как для командира. С солдатами он держался даже не как ровня, а как младший со старшими. Ну, не знают они там математики или еще чего-нибудь, половина из них не очень грамотны, но они хорошо стреляют, бросают гранаты, ползают по-пластунски, могут в пять минут выкопать щель, развести костер, поставить заплату, могут спать в любых условиях, и даже на ходу, — иными словами, делать все то, что нужно на войне. И, разговаривая с солдатами, Ильин всегда невольно думал: «Ну чего я его учу, ведь он в десять раз лучше меня все это знает».

Сергеев как-то не вытерпел и сказал ему:

— Товарищ лейтенант, очень прошу вас, есть у вас какое-нибудь сомнение, обращай-

тесь ко мне, а не к солдатам. Вот сегодня опять что-то у Сидорчука спрашивали. А вы его командир, вы для него должны быть богом, не он для вас, а вы для него. А получается наоборот.

— Ну какой же я бог, — конфузился Ильин. — Когда бойцу показываю, как чучело надо колоть? Нет уж, бога из меня не получится, как хотите.

Так и не удалось Сергееву убедить Ильина. Он остался таким же, каким был.

И вот Ильин получил свое первое задание. К двум ноль-ноль его рота должна захватить сопку. Его рота. Даже как-то странно звучит — рота Ильина. Ему к этому так же трудно было привыкнуть, как и к тому, что солдаты ему козыряют и стоят перед ним навытяжку. Кстати, тут тоже была заслуга Сергеева, который неукоснительно требовал этого от бойцов, особенно по отношению к командиру роты. А командир только смущался и первое время тоже вытягивался перед бойцами, как они перед ним.

Так вот, к двум ноль-ноль высота 103,2 должна быть взята.

## 7

Ильин шел по лесу от комбата к себе, и в голове его неотвязно вертелось:

Итак начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны.
О войнах, которым стихи не нужны...

Он не помнил, откуда это и чье это и как оно ему в голову попало — стихов он не лю-

бил и знал их мало, — но вот лезут навязчиво строчки, и никак нельзя от них избавиться.

Где-то совсем недалеко, справа, мигнул красный огонек цигарки, и невидимый в темноте часовой обругал курившего, тот что-то пробурчал в ответ и повернулся, очевидно, на другой бок — огонек погас.

Ильин на кого-то наткнулся.

— Кого ищете, товарищ лейтенант?

— Сергеева или Жмачука. Не знаете, где они?

— Так Жмачук же дежурный сегодня. По батальону, — ответил голос снизу. — Его тут нет.

— А Сергеев?

— Сергеев? — Боец сел на корточки. — Во-он, видите, дуб здоровый. Если присмотреться, видно. С развилкой. Так от него шагов двадцать правее. Только у них малярия опять. С вечера еще затрясло.

— У кого, у Сергеева?

— Ага...

— Вот черт — Жмачука нет, Сергеев болен. А Вовк где?

— Там же, у дуба. Палатка там у них. Позвать, что ли?

— Нет, нет не надо. Я сам.

— А то я мигом.

— Спасибо, не надо.

Вовка пришлось долго трясти, пока он не проснулся.

— Ну чего? — он приподнялся на локте и приблизил свое лицо к лицу Ильина. — Это кто? Это вы, товарищ лейтенант?

— Я, я. Подымайтесь.

— А что?

— На задание надо идти.

— На какое еще задание? — в голосе Вовка не слышалось ни малейшего азарта.

— Сейчас узнаете. Вставайте.

Вовк ворча стал искать сапоги.

— Тюлька! — заорал он на весь лес. — Куда ты сапоги дел, чертова голова?

Никто не ответил, и Вовк опять стал шарить вокруг себя.

— А о каком это задании вы говорите, товарищ лейтенант? — раздался вдруг слева голос Сергеева.

— Спите, спите, Сергеев. Я не к вам.

— А какое задание?

— Я не к вам, я к Вовку. Вергасов приказал высоту одну тут захватить. Вот и...

Сергеев сразу сел:

— Какую? 103,2?

— 103,2.

— Сейчас мы ее возьмем. Одну минуточку. — Сергеев оперся о плечо Ильина и встал. Даже сквозь гимнастерку чувствовалось, что рука у него горячая.

— Слушайте, у вас же это самое, куда вам, — запротестовал Ильин.

— А у вас — первое задание, — шепотом в самое ухо сказал Сергеев, и на Ильина пахнуло жаром. — Что важнее? А? Вовк все равно до утра сапоги искать будет.

Высота 103,2 находилась в полукилометре от занимаемой батальоном рощи. По-

пасть на нее можно было или прямо, перейдя дорогу, по равнине, или же слева, по так называемому Г-образному оврагу. Решили, что один взвод ударит в лоб, другой из оврага. Сергеев настаивал, чтобы удар прямо поручили ему, но Ильин заупрямился. Он считал, что по оврагу идти менее опасно, и ему было неловко посылать на более трудный участок Сергеева. Тому пришлось подчиниться.

В обороне остался взвод Вовка. Ильин взял солдат Жмачука, Сергеев пошел со своими.

Было около часу, когда оба отряда двинулись к высотке. Темень стояла адова. Небо с вечера затянуло тучами. Ильин к тому же был близорук, поэтому старался держаться Кошубарова, сержанта из взвода Жмачука, хвалившегося, что видит ночью как кошка. И действительно, он полз так быстро и уверенно, как будто по крайней мере раз десять здесь ползал и знает каждую кочку.

Ильин запыхался, с трудом поспевая за Кошубаровым, и все боялся, что солдаты потеряют направление или отстанут. Но солдаты не терялись и не отставали. Во время небольших передышек — пятьсот метров да еще в темноте в один прием не проползешь — Ильин слышал, как рядом с ним кто-то дышал, отряхивался, тихо сплевывал. Потом почудилось, что они не туда поползли, что высота осталась где-то значительно левее, что Сергеев давно сидит на исходной и нервничает и не может понять, что же случилось в конце концов. Условлено было начать бросок без всякого сигнала ровно в час сорок

пять, но в последнюю минуту Ильин забыл поменяться с Кошубаровым часами (у того были светящиеся), и сейчас ему казалось, что положенный срок прошел и что ползут они никак не меньше часа.

Кошубаров неожиданно остановился и, когда Ильин к нему подполз, вытянул руку вперед:

— Видите?

Ильин напряг зрение, но ничего не увидел.

— Высотка, — задышал ему в ухо сержант. — Метров полтораста осталось.

Ильин опять посмотрел, сощурил даже глаза, но так ничего и не увидел.

Снова поползли. Местность стала подниматься. Изредка попадались кустарники. Впереди вырисовывался гребень высотки — очевидно, взошла луна или тучи поредели, а может быть, и просто потому, что подползли ближе.

Когда же до исходного для броска рубежа осталось каких-нибудь десять — пятнадцать метров, до слуха Ильина донеслась чья-то речь. Ее услышали все: движение разом прекратилось, Кошубаров прижался к земле и застыл.

Говорили немцы. Говорили вполголоса, но без всякой опаски — они не подозревали, что противник может оказаться так близко.

Ильин напряг слух.

— Сколько там осталось? — донеслась сверху, чуть-чуть слева, гортанная немецкая речь.

— Штук десять, — ответил кто-то справа.

— А у Хельмута?

— У Хельмута не знаю. Штук пять, вероятно.

Немного погодя донесся и третий голос:

— Кончили первый ряд?

— Кончаем, — ответили справа. — Минут через пять кончим.

«Минируют... — мелькнуло у Ильина в голове. — Вот черт... — Он пополз к Кошубарову и в темноте нащупал его руку. На часах было четверть второго. — Неужели так мало ползли?»

— Минируют, сволочи... — еле слышно выругался Кошубаров; он тоже понял или догадался, о чем говорили немцы. — Что будем делать?

— Что будем делать?

Ильин впервые понял, вернее даже не понял, а почувствовал, что сейчас именно от него, а не от кого-либо другого зависит все дальнейшее. От того, как быстро он сообразит, и от того, как быстро принятое решение будет осуществлено, зависит не только его жизнь — как ни странно, сейчас он меньше всего думал о ней, — а жизнь двадцати человек, устами Кошубарова спросивших его: «Что будем делать?» От этого зависит успех всей операции. Там, в лесу, у комбата, и позже, когда они с Сергеевым собирались, он ловил себя на том, что больше всего ему хочется не подкачать, показать всем, Віргасову, Коновалову, майору Филиппову и даже милому, трогательному Сергееву, что вот он — шляпа, мямля, а тоже может кое-что де-

лать. Детская черта, но что поделаешь, она была и проявилась у него здесь, на фронте, как невольный ответ на отношение к нему окружающих. Однако теперь, на склоне высотки, которую ему, лейтенанту Ильину, поручено было захватить, он и не думал об этом.

Он ощущал на себе взгляд Кошубарова и еще двадцати лежащих рядом с ним человек, понимал, что они с Сергеевым плохо условились, чего-то не учли, что-то прошляпили, понимал, что задача, таким образом, значительно усложнилась, но также понимал и то, что оправданием это служить не может. Приказано захватить высотку, и он должен ее захватить.

Он опять посмотрел на часы. Двадцать три минуты второго. Осталось двадцать две минуты... Он мысленно представил себе карту предполагаемой немецкой обороны, которую показывал в лесу Вергасов. Белый кружок от фонаря, коричневые горизонтали, двигающийся по ним палец. В кружке — высотка, слева овраг, справа нечто вроде ложбинки и за ней пологий длинный подъем. Высотка стоит как прыщ. Надо ее обогнуть и, пока не поздно, в условленный с Сергеевым час ударить по немцам с тыла. Это единственный выход... Ударить с тыла.

— Хельмут. Алло, Хельмут! — донеслось сверху.

Ильин вздрогнул и зашептал Кошубарову:

— Пошли вправо. Ударим с тыла. Осталось двадцать минут.

Кошубаров энергично закивал головой и пополз. Гребень высотки остался слева.

8

— Ну, как наш Судак? Не присылал еще связного? — Коновалов подсел на корточки к Вергасову и пощекотал ему травинкой ухо.

— Рано еще. А ты чего не спишь?

— Не спится.

— Волнуешься?

— Что мне волноваться?

— Врешь, волнуешься. Я вот волнуюсь. — Вергасов сел и почесался, муравьи не давали покоя. — Чёрт его знает, может, и вправду не надо было посылать.

— Я ж говорил.

— Говорил, говорил... Все вы только говорите, — Вергасов поймал муравья и со злобой втоптал его каблуком в землю. — Командиры называется. Никогда ничего поручить нельзя. Все комбат сам должен делать, за всех отдуваться.

Вергасов встал:

— Пойди узнай, нет ли связного?

Коновалов отошел и почти сразу же вернулся. Связного не было. Вергасов посмотрел на часы — семь минут третьего — и пошел к опушке. Как будто немного посветлело, но высоты еще не было видно. Стояла тишина, чуть-чуть только шумели верхушки деревьев. Со стороны немцев не доносилось ни звука. Вергасов постоял несколько минут и пошел назад. Коновалов лежал на шинели и курил в кулак.

— Ну?

— Что ну? Сам не видишь, что ли? Третий час, а от него ни звука.

С опушки донесся хруст веток, словно кто-то ломал кусты.

— Кто идет? — окликнул часовой.

— Свои. Лещилин со второй роты. Где комбат?

— Здесь, здесь! — приглушенно крикнул Вергасов. — Давай сюда.

Подошел запыхавшийся боец.

— Взяли сопку?

— Нет еще. Вам записка от лейтенанта Ильина.

— Сопка мне нужна, а не записка. Записки еще пишет. — Вергасов выругался. — Ну, чего ты там возишься? Коновалов, посвети-ка.

В записке, написанной крупным кривым почерком с налезающими друг на друга словами — писалась она второпях и в темноте, — было сказано:

«Поймал «языка». Выяснилось, что важнее захватить не 103,2, а следующую за ней. 103,2 блокирую. Захватываю следующую. Ильин».

— Видал? — Вергасов затряс листком перед носом Коновалова. — Видал? Ему приказано взять сопку, взять, а он... «блокирую», понимаешь ли!

Вергасов скомкал листок и швырнул его наземь.

— Важнее другую брать... Он знает... Тоже полководец нашелся. И дернул меня черт посылать его. — Вергасов круто повер-

нулся к бойцу. — Что это еще за сопка? Ты видел ее?

— Ага.

— Ты не агакай, а отвечай толком. Что это за сопка?

— Так за первой другая, поменьше.

— Ну?

— Лейтенант Ильин и решил ее взять...

— А кто ему разрешил? Кто разрешил, спрашивается? Кто? Русским языком было сказано — 103,2 а он...

— Так мы ж на мины напоролись, — оправдываясь, сказал боец.

— Какие там еще мины?

— Да фрицы ставили. Мы полезли, а они как раз ставят.

— Ну?

— Вот лейтенант Ильин и решил обойти их, с тыла ударить. А там как раз фриц связь тянул. В ложбинке, между большой и малой сопкой. Совсем случайно напоролись. Так он, этот самый фриц, сказал, что на той сопке оборону их солдаты роют...

— Ну и что? — перебил Вергасов. — Пускай себе роют.

— Так фриц же сказал, что там сейчас никого нет. А на этой, как ее, 103, что ли, рота саперов. НП делают. Так лейтенант решили...

— А ну его, твоего лейтенанта! Какие-то саперы, НП... Чего он воду мутит? — Вергасов осмотрелся по сторонам. — Поведешь меня туда. Пастушков! Тащи автомат! И Шутовых ко мне. Живо!

Через минуту явились Шутовы — батальонные разведчики, с которыми Вергасов

всегда ходил на задания. Шутовы были близнецами, причем до того похожими друг на друга, что одному пришлось отпустить усы. И все знали: Борис с усами, а Глеб бритый. Все же остальное было одинаковым, даже татуировка одинаковая: на левой руке, немного выше запястья, у обоих были наколоты женские головки.

— Диски полные? — спросил Вергасов.

— Полные, — в один голос ответили Шутовы.

— Пошли тогда. Где этот, из второй роты?

Лещилин — самый быстроногий и толковый боец второй роты, всегда используемый как связной, — повел не прямо, а через Г-образный овраг. Вергасов заметил это не сразу, а уже около самой высоты и, несмотря на то что крюк отнял каких-нибудь пять лишних минут, пришел в еще большую ярость. Но они были под самой сопкой и давать волю своей ярости никак нельзя было. Пришлось сдержаться, хотя Вергасов дошел, как говорится, до точки. Он даже не представлял себе, как будет говорить сейчас с Ильиным. Человеку первый раз в жизни дают задание, ответственное задание, а он, вместо того чтобы его выполнять, пишет записки, теряет время. А через час — полтора будет уже совсем светло. Струсил и все. Роты саперов испугался.

Вылезли из оврага и поползли — идти было опасно — по обратному скату холма. Сверху доносились приглушенные голоса и стук топора. Потом свернули налево и поползли в высокой мокрой от предутренней росы траве.

Вскоре наткнулись на окапывающегося солдата, затем на второго, третьего. «С ума спятил, ей-богу, с ума спятил», — думал Separate Вергасов, быстро пробираясь вслед за Лещилиным. Высотка осталась позади, и оттуда изредка доносился только стук топора, голосов расслышать было нельзя.

— Сюда, товарищ комбат, сюда, — шепотом сказал Лещилин и пропустил Вергасова вперед.

— Кто это? — раздался голос Сергеева. Он сидел на дне ямы или воронки от бомбы — в темноте не разобрать.

Вергасов спустился туда же. Несколько секунд он молчал, тяжело дыша.

— Где Ильин? — спросил он сдавленным шепотом, переводя дыхание.

— Там, — Сергеев махнул рукой куда-то в пространство.

— Вы мне не рукой машите, а объясняйте толком. Где Ильин, я вас спрашиваю?

— На той сопке, где немцы оборону роют, — спокойно ответил Сергеев. — Вы разве не получили записку?

— Кой черт мне ваша записка нужна! Мне сопка нужна, понимаете, вот эта вот, что у вас под самым носом, а не какая-то там... Почему вы ее не взяли, а?

Сергеев открыл было рот, чтобы ответить, но Вергасов не дал:

— Чтобы через пять минут Ильин был здесь. Ясно?

— Ясно, — ответил Сергеев. — Разрешите сначала объяснить?

— Ты сначала Ильина мне доставь, понятно? Очень мне нужны ваши объяснения.

Испугались роты саперов — вот и все объяснение. Вояки называется!..

Вергасов отвернулся, давая понять, что ни в какие объяснения вступать не собирается.

Сергеев подозвал Лещилина и отправил его за Ильиным. Потом повернулся к комбату:

— Зря вы его за командиром роты послали.

— Почему зря?

— Честное слово, зря. Во-первых, пока он будет его искать, они уже там начнут...

— Я им дам начать!..

— А во-вторых, — продолжал Сергеев, — ведь все думали, что на этой высотке 103,2 только два пулемета и что их можно будет тихо снять. А оказывается, там НП строят. Чуть ли не рота саперов. Пришлось бы ввязываться в бой. А от пленного — товарищ лейтенант вам писал об этом, связиста тут одного поймали, он связь тянул — узнали, что основная оборона немцев проходит совсем недалеко отсюда...

Сергеев торопился изложить план Ильина. Он сидел на корточках рядом с Вергасовым на дне воронки и говорил, как всегда, очень сдержанно — это была его отличительная черта, — но внутренне волновался, боялся, что говорит недостаточно убедительно и что раздраженный Вергасов не даст ему договорить.

А план Ильина заключался в следующем.

Из показаний пойманного связиста — он сидел тут же, скрученный по рукам и ногам, с кляпом во рту — выяснилось, что метрах в ста пятидесяти — двухстах от высоты 103,2 есть еще одна, в районе которой немцы сейчас ли-

хорадочно роют оборонительный рубеж. Пока он еще не занят пехотой, но через час будет поздно. Захватив вторую сопку, рота Ильина вклинится в немецкую оборону и парализует ее, одновременно отрезав от нее высоту 103,2. Если же атаковать саперов, это привлечет внимание противника, и он, спешно заняв оборону, не даст в нее вклиниться. Поэтому Ильин, боясь упустить время, самостоятельно принял решение — взвод Сергеева оставить для блокировки высоты 103,2, которую впоследствии нетрудно будет захватить, так как немецкие пулеметы этот скат не простреливают, а самому со своим взводом занять вторую высоту.

Таков был план. Со стороны он выглядел стройно и логично, придраться было не к чему. Но, если говорить прямо, Сергеев мало верил в его благополучный исход. Он боялся за Ильина, боялся, что тот с ним не справится. В таких делах нужен прежде всего военный опыт, а у Ильина его нет. Сергеев потому и пошел сам с командиром роты, что хотел, как всегда, быть при нем и так же, как на занятиях, незаметно руководить им.

Получилось иначе. Мало того, что Ильин придумал план, — он взялся лично руководить самой его ответственной частью. Вот этого-то Сергеев и опасался. Но сейчас, когда Ильин с ротой находился на исходной и план фактически начал осуществляться, Сергеев понимал, что изменить ничего нельзя. Он считал своим долгом защищать принятое его командиром решение и делал это со всей убежденностью, на которую был способен.

— Вы понимаете, товарищ капитан, насколько мы выигрываем, — говорил он все тем же внешне спокойным тоном. — Надо только, чтобы оставшиеся две роты закрепили успех. У лейтенанта с собой всего два пулемета, а немцы, как увидят, сразу же начнут отбивать высотку. Ведь правда же?

Вергасов ничего не ответил. Он почти не слушал Сергеева. Ему ясно было, что возложенное на командира роты задание не выполнено, высота не взята, то, о чем он писал в своем донесении командиру полка, не сделано. А все, что говорит Сергеев, чепуха. Выгораживает своего командира, который вообразил себя полководцем... Да что говорить! Это хороший урок Вергасову, чтобы знал, кого можно, а кого нельзя посылать на задания. Надо отстранить Ильина от командования ротой. Не его это дело. А теперь надо брать сопку.

Вергасов посмотрел в сторону уже отчетливо видневшейся высоты, соображая, как и откуда лучше всего нанести по ней удар. Потом повернулся к Сергееву:

— Отсюда ударишь, видишь? А Ильин оттуда, из оврага. В пять минут с этой петрушкой покончим, — он глянул на часы. — Куда он провалился, твой связной, черт бы его забрал...

Сергеев не успел ответить. Где-то совсем недалеко раздался выстрел. За ним второй, третий...

Оба переглянулись. Ильин начал свою операцию.

Когда Ильин писал записку Вергасову, он приблизительно догадывался, как она будет встречена комбатом. Вергасов самолюбив и не терпит, когда нарушают или изменяют отданные им распоряжения. То же, что собирался делать Ильин, можно было назвать и тем и другим. Правда, выражаясь уставным языком, это было скорее «самостоятельно принятым решением в связи с изменившейся обстановкой». Но как отнесется к этому самостоятельно принятому решению Вергасов, было более или менее ясно.

Еще по институту Ильин помнил, что экзаменующие предпочитают, чтобы им отвечали именно так, как они читали на лекциях. Отклонение отнюдь не всегда повышало отметку — чаще всего результат оказывался как раз противоположным.

Когда Ильин писал записку, Сергеев ему сказал:

— А может, не стоит, товарищ лейтенант? Все-таки ваше первое задание...

Но он записку все-таки написал и на задание пошел сам. Сергеев остался блокировать сопку.

Ильин лежал на животе, сжимая руками автомат, и ждал, когда вернутся двое разведчиков, которых он на всякий случай послал проверить, нет ли и здесь минного поля. Восток заметно посветлел, и Ильин ясно различал фигуры двух бойцов, лежавших правее его. «Вот они лежат, эти двое бойцов,—думал он,— а за ними еще восемнадцать человек лежат и

ждут сигнала. А когда будет сигнал — и сигнал этот даст именно он, Ильин, — они вскочат и побегут вперед, и кто-то из них, возможно, будет ранен или убит, и они это знают и, конечно, волнуются, хотя все они стреляные-перестрелянные. Волнуются и в то же время спокойны — у них есть приказ, и от них требуется только одно — выполнить его. Но достаточно ли этого? Ведь они знают — а солдаты всегда все знают, — что комбат приказал брать другую высоту. И может, этот вот боец из новичков, лежащий в десяти шагах от него, — Ильин почему-то хорошо запомнил его круглую, коротко остриженную голову, по которой так и хотелось провести ладонью, такая она была мягкая, точно плюшевая, — может, он лежит сейчас и думает: «И что это лейтенант мудрит?», короче, не верит ему. А солдат в первую очередь должен верить командиру, верить, что не зря пойдет под пули...»

Самое трудное на фронте — принять решение, иными словами, взять на себя ответственность за все последующие события, за то, что люди, судьба которых в твоих руках, если даже и погибнут, то погибнут, выполняя задачу, в правильности которой ты, во всяком случае ты, абсолютно уверен.

Да, это и есть самое трудное на войне — принять решение, а приняв, твердо выполнять.

Впереди что-то задвигалось. Разведчики? Так и есть. Митрохин и Андронов. Запыхавшись, давясь от шепота, докладывают, что мины не обнаружены. Так... Ясно. Ильин посмотрел на часы — он взял на время атаки у

Кошубарова его, светящиеся. Вот когда минутная стрелка доползет до цифры три, он даст сигнал...

— Товарищ лейтенант...

Ильин вздрогнул. Рядом с ним лежал Лещилин.

— Комбат вас к себе вызывает.

— Где он? — еле слышно спросил Ильин.

— У нас. В воронке, где командир взвода,— так же тихо ответил Лещилин.

Ильин понял все. Случилось то, чего он больше всего боялся. Вергасов пришел, чтобы отменить его решение. Он. вероятно, в бешенстве. Ильин даже представил себе лицо комбата — побледневшее, со сжатыми губами, сощуренными колючими глазами. Сейчас еще не поздно. Можно вернуть назад бойцов и ударить по 103,2. Но нужно ли? Правильно ли это будет?

Ильин закрыл глаза — он всегда так делал, когда хотел сосредоточиться. Открыл их. Восток посветлел, тучи рассеялись, и слева, на чуть-чуть порозовевшем небе, можно было различить очертания небольшой рощицы.

Правильно ли это будет?

С точки зрения дипломатической, чтоб не обострять отношения с начальством, — да, правильно. С точки зрения военной, тактической целесообразности — нет, не правильно...

Минутная стрелка проползла через тройку и медленно приближалась к цифре четыре. Ильин наклонился к Лещилину и сказал ему в самое ухо:

— Через минуту я подымаюсь в атаку.

Скажи комбату, надо прислать для закрепления роту Коновалова. Беги...

В тот момент, когда он подносил свисток к губам, чтоб дать сигнал, он почувствовал, как сердце его на мгновение остановилось.

Потом он бежал по склону сопки, сжимая в руках автомат, и ему было почему-то легко и весело, и, пробегая мимо солдата с плюшевой головой, он не выдержал и крикнул:

— Давай, друг, давай!

И тот дружелюбно откликнулся:

— Даем, лейтенант, даем!

## 10

Вечером того же дня Вергасов возвращался из штаба дивизии. Его вызывали, чтобы он нарисовал точную картину операции, которая расстроила всю немецкую оборону, дала возможность дивизии продвинуться вперед чуть ли не на шесть километров и захватить три дальнобойных батареи противника, не успевшего их эвакуировать. В штабе все жали Вергасову руки, поздравляли, хлопали по спине, приговаривая: «Наш Вергасов не подкачает», и только начальник штаба, толстенький, с бритой, чтобы не видно было лысины, головой, проницательный полковник Шаронов, отвел его в сторону и сказал: «Все очень хорошо, капитан, но сообщить надо было не тогда, когда уже взял высоту, а когда решил ее брать. Сюрпризы на войне дело опасное, даже хорошие».

Командир дивизии тоже поздравил Вергасова, а на слова Вергасова, что основная заслуга в этой операции принадлежит командиру

роты лейтенанту Ильину, комдив только улыбнулся:

— Не скромничай, Вергасов, тебе не идет. Комроты комротой, а комбат комбатом. Не первый день все-таки воюю.

И то, что Вергасов не нашелся, что ответить, и не только комдиву, а и всем остальным, и то, что он нес сейчас в левом кармане гимнастерки приказ, в котором ему выносилась благодарность «за блестяще проявленную инициативу в сложных условиях ночного боя, приведшую к значительным тактическим успехам», а Ильину только «за хорошо выполненную операцию по захвату высоты Безымянной», — было ему неприятно.

Только сейчас до Вергасова дошло, что случилось там, у подножия сопки. Он был взбешен, а значит, и слеп. Он не хотел вникать в план Ильина, он расценивал его как бессмысленную, глупую затею. И попадись ему под горячую руку Ильин, бог знает, что бы могло произойти. Но Ильин, к счастью, не подвернулся, а Вергасов был прежде всего командиром, то есть человеком, для которого важнее всего исход операции, поэтому, хотел он этого или не хотел, в сложившейся обстановке он вынужден был подчиниться инициативе своего командира роты. Выход остался один — подтянуть батальон, помочь второй роте закрепиться, попытаться ликвидировать собственными силами сопротивление высоты 103,2 и немедленно, самым срочным образом, донести обо всем командиру полка. Так он и сделал.

Результаты превзошли все ожидания. Ильин захватил сопку, не потеряв ни одного человека.

хотя небольшого боя избежать не удалось — на сопке оказалась группа ничего не ожидавших связистов. К моменту, когда противник, услышав перестрелку, стал лихорадочно перебрасывать свои батальоны, чтобы занять оборону в приготовленных траншеях, на помощь Ильину подоспела рота Коновалова. Гитлеровцы были встречены пулеметным огнем, растерялись и побежали. В образовавшийся прорыв ринулся батальон Вергасова, два других ударили с фланга. Только-только намечавшаяся на этом участке фронта оборона немцев была прорвана, дивизия продвинулась на всей полосе почти на шесть километров. Это был большой успех.

Вергасов медленно ехал по лесу. Он устал. Устал от бессонной ночи, от обильного событиями дня, от бурного приема в штадиве. Ехал не торопясь, по реденькому лесочку, лениво похлопывая Серко прутиком. Ему не хотелось в батальон. Он знал, что увидит там Ильина, которого не видел с тех пор, как отправил его на задание, знал, что придется с ним разговаривать, но не представлял себе, как и о чем, и вообще, черт его знает, как себя с ним держать.

Вергасов сделал крюк, заехал зачем-то на высоту 103,2, забрался на Безымянную. В немецких окопах толкались чужие артиллеристы, устанавливали орудия, весело переругивались. Пробегавший мимо солдат, чему-то смеясь, спросил его: «Вы кого ищете? Не Титова, часом?» Вергасов ничего не ответил и поехал дальше.

Батальон расположился в крохотной курча-

вой рощице, в брошенных немцами землянках. Его перевели во второй эшелон, и бойцы, чувствуя солдатским чутьем, что ночью их никуда не двинут, слонялись, несмотря на усталость, по роще, латали обмундирование или просто валялись, собравшись группами, о чем-то вспоминая и весело хохоча.

На опушке уютно дымила походная кухня, и кто-то кричал, что кухня их демаскирует, а повар Севрюк, как всегда, не обращал на это внимания. На ветках сохли портянки. Комсорг Межуев выпускал боевой листок — десятый за последнюю неделю, больше, чем во всех других подразделениях полка. Около кухни бренчала гитара, и по тому, что бренчала она невероятно фальшиво, можно было догадаться, что занимается этим Коновалов. В воздухе пахло смешанным запахом потревоженного прелого листа, конского навоза и сохнущих портянок. Из-за соседней рощи медленно на светлое еще небо вылезал совсем молоденький месяц, и казалось, что, зацепившись нижним рогом за деревья, он никак не может из них выбраться.

Вергасов подъехал к штабной землянке — аккуратному немецкому блиндажу с нарисованной черной краской на двери летучей мышью. Это был опознавательный знак стоявшей здесь немецкой части — мышь наляпана была буквально на всем, даже на уборной.

У блиндажа на корточках сидел Пастушков, рассматривая разложенные на земле штаны и, очевидно, обдумывая, как поставить заплату. Увидев комбата, он не спеша встал и свернул штаны.

— Серка расседлывать? — спросил он, и в самом тоне вопроса и в том, что за ним не последовало обычных других, Віргасов отметил что-то новое, не такое, как бывало всегда.

Сидевший в землянке за очередным донесением писарь посмотрел на него тоже как-то необычно, боком, начштаба же поднял лишь голову и спросил: «Ну, что там нового?», повернулся на другой бок и сразу же захрапел.

Вергасов молча вышел. У входа, уткнувшись лицом в сумку от противогаза, спал батальонный почтальон. Вергасов остановился над ним.

— Другого места не нашел? Под самым штабом развалился.

Солдат суетливо встал, одергивая гимнастерку. Взгляд Вергасова скользнул по его растерянному, не проснувшемуся еще лицу и упал на летучую мышь на дверях.

— Сотри ее... К чертовой матери! — и посмотрел опять на почтальона. — А то дрыхнут, дрыхнут, круглые сутки дрыхнут.

Вергасов прошел на кухню, в обоз, забраковал кашу, отчитал помхоза за не подкованных до сих пор лошадей, вернулся в рощу, постоял над Межуевым, который рисовал карикатуру на потерявшего лопату бойца третьей роты — лопата была почему-то в два раза больше бойца, но солдатам карикатура нравилась, и они весело над ней смеялись, — и лишь тогда направился к Ильину.

Ильин сидел на патронном ящике и брился. Увидев комбата, встал.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал Вергасов и после небольшой паузы добавил: — Красоту наводите?

— Тороплюсь, пока совсем не стемнело.

Вергасов сел на пенек. Ильин, сморщившись, брил губу.

— Вы безопасной бреетесь? — спросил Вергасов.

— Угу, — не открывая рта, ответил Ильин.

Больше они не произнесли ни одного слова до самого конца бритья. Когда бритье кончилось и кругом на полверсты запахло тройным одеколоном, Вергасов вынул из кармана сложенный вчетверо листок и протянул его Ильину:

— Прочитайте.

Ильин развернул листок. Это был приказ по дивизии. Он читал его долго, все время кивал головой, видимо одобряя.

— Что ж, очень приятно. Ничего не скажешь, очень приятно, — он даже слегка покраснел. — Только вот машинистка у них не очень-то. Ваша фамилия разве через «ы», Выргасов?

Вергасов, не глядя, положил в карман приказ. Долго застегивал пуговицу. Потом сказал:

— Я не буду его зачитывать перед строем.

— Почему же? — удивился Ильин. — Такой приказ и не зачитать? Ведь солдаты...

— Вам должно быть ясно, почему я не могу его читать.

— Нет, не ясно.

Вергасов исподлобья посмотрел на Ильина.

— Я хотел вас отстранить от командования ротой, — глухо сказал он. — Знаете вы это или нет? И именно за то, за что вы... и я, — добавил он совсем тихо, — получили сегодня благодарность, — и помолчав: — Теперь ясно?

— Если из-за меня, — тихо сказал Ильин, — то не стоит. Я не придаю этому никакого значения. Я понимаю, что...

— Нет, не понимаете. В том-то и дело, что не понимаете. И очень многого не понимаете. — Вергасов искоса, не поворачиваясь, глянул на Ильина. — А я, оказывается, и того больше...

Он наклонился, поднял с земли гильзу от патрона, некоторое время ее разглядывал, потом размахнулся и запустил ее.

— Когда бросаешь, надо бросать всем телом. Ясно? И вообще... Пошли ко мне, а?

Ильин сразу даже не понял:

— Куда?

— Ко мне. У меня коньяк трофейный есть.

Ильин сконфуженно улыбнулся:

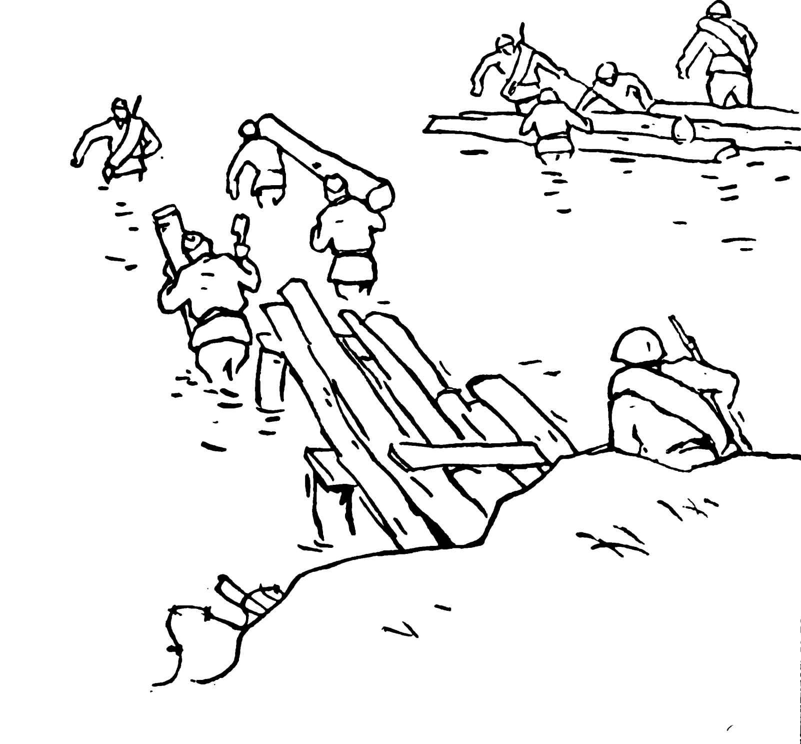
— Я же, вы знаете, товарищ капитан, не очень-то...

— А кофе вы пьете? — перебил Вергасов, и в глазах его появилось то веселое, мальчишеское выражение, которое так нравилось всегда Ильину.

— Кофе пью.

Вергасов рассмеялся.

— Севрюк-то наш, повар, целый мешок кофейных зерен раздобыл. И не знает, что с ними делать. Целый час, говорит, варю, варю, и ни черта не получается. Сергеев! — крикнул вдруг Вергасов так, что сидевший неподалеку солдат испуганно обернулся. — Или кто это там сидит? Будут спрашивать командира роты, скажешь, что у комбата, коньяк пьет...



## ПЕРЕПРАВА

Дивизия наша подошла к селу Кашперовка уже под вечер. Разведка донесла, что немцы сидят на том берегу Южного Буга, но почему-то молчат и что ни мостов, ни каких-либо других переправочных средств в этом районе не обнаружено.

Майор, командир саперного батальона, — я был тогда заместителем по строевой — вызвал меня к себе и, как всегда перед заданием, ворчливо-недовольным тоном сказал:

— Фриц не знает, что мы вышли к реке, поэтому, очевидно, и молчит. Надо, значит, воспользоваться этим делом и за ночь организовать переправу. Нет — не за ночь, за полночи. Понимаешь почему? Чтоб пехота до рассвета успела переправиться (это была его манера — задавать вопросы и самому на них отвечать). Комдив так и сказал Сергееву — чтоб полк его до шести утра был уже на той стороне, с пушками и со всем прочим. А саперов у Сергеева, сам знаешь, — три калеки. Вот и придется нам отдуваться. Займись-ка этим делом.

Я пошел во вторую роту. Народу в ней было человек двадцать — в основном плотники, — за командира же орудовал временно Савчук, расторопный и страшно хитрый старший сержант — одессит. Командира роты ранило на Ингуле, и он трясся где-то позади на медсанбатовских подводах.

— Бери роту и двигай на берег, — сказал я Савчуку. — Я поужинаю и через полчасика приду к вам. Разведай пока берег, заготовь телеграфные столбы для плота — там их на шоссе видал сколько... В общем, подготовь все, а я приду, и тогда начнем. К трем кончишь?

— Зачем к трем? К двум кончим. Трос у нас есть, инструмент наточен. Под пушки, что ли, плот делать?

— Под пушки. Полковые.

— Ясно.

Савчук щелкнул каблуками — парень он был фасонистый, из кадровичков, и делал это всегда с истинным кадровым блеском — и побежал к роте.

С ужином я задержался, потом плутал в темноте по незнакомым улицам, угодил в какое-то болото — короче, на переправу попал часам к девяти. Особенно я не беспокоился — Савчук парень толковый, энергичный, наверное, все уже заготовил и сидит где-нибудь в халупе, дожидается меня...

Но получилось не так. Не дошел я каких-нибудь пятисот метров до условленного места, как понял, что на берегу творится что-то неладное. Крики, ругань, безалаберщина... Что за черт! У Савчука обычно все тихо, чин чином. Я нарочно даже велел Крысаку, командиру взвода, — Савчук с ним часто сцеплялся — остаться в расположении и в минном хозяйстве разобраться. А тут... Ничего не пойму. Тьма непроглядная. За два шага ничего не видать. Кричат, ругаются...

— Савчук! Где ты?

— Это вы, товарищ капитан? — слышу его голос, совсем уже охрипший. — Скобы наши поперли все...

— Кто попер?

— А черт его знает. Принесло сюда еще каких-то. Армейские, что ли? Говорят, что это их место. Тоже плот делают. Я уже трос стал натягивать, а там какой-то — майор, что ли, — ругается, пистолетом размахивает... Вы б с ним...

— А где он?

— Да вон там — разоряется. Слышите? Два столба у нас стащили. А теперь вот скобы...

— Кто тут старший? — спрашиваю кого-то большого, громоздкого, в шуршащей плащ-палатке.

— Я. А вы кто такой?

— Комендант переправы, — вру я.

— Чепуха! Комендант — я.

— Ладно... Забирайте своих бойцов и не мешайте работать.

— Кому? Вам? Мне это нравится. Кто вы такой? Командующий армией, что ли?

— Кто бы я ни был. Это вас не касается. Освободите берег и верните скобы, которые у нас взяли.

— Я? У вас? Скобы? Спятили, ей-богу... Это ваши бойцы три топора у нас свистнули...

— Нужны нам ваши топоры... — вмешивается Савчук. — Своих будто не имеем... Вы лучше скобы отдайте. Я их сразу узнаю.

— Ори, ори побольше, — вступился еще кто-то, из того уже лагеря. — Фриц услышит, даст дрозда, тогда не только скобы побросаете.

— Вам не оставим, не беспокойся...

Поругались мы так еще минут пять или десять и ни к чему, конечно, не пришли. Единственная польза, что Савчук, воспользовавшись ссорой начальства, захватил берег в самом узком месте реки и стал забивать колья для троса.

Стало тише. Майоровы бойцы подвинулись немного вправо. В темноте трудно было разобрать, где наши, где его, и только редкие уже

вспышки ругани показывали, где проходит между нами линия «фронта».

Я сел на бревно и закурил. Река в этом месте была неширокая, но извилистая, с множеством рукавов. Немцы сидели на высоком правом берегу, километрах в полутора от нас, и время от времени бросали ракеты. Но нам они не мешали. Стрельбы ни с нашей, ни с немецкой стороны не было никакой.

Минут двадцать все шло спокойно. Вдруг слышу опять голос майора:

— Где этот... начальник ихний?

— Чего вам еще надо? — спрашиваю.

Майор подходит. Задыхается от бешенства:

— Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я вынужден буду...

— Что?

— Выкину вас отсюда. Силой.

— Попробуйте.

— Отдайте лодку! Сейчас же отдайте лодку! Или я... — он заковыристо выругался и — мне показалось — полез в кобуру.

— Какую лодку?

— Что вы дурачком прикидываетесь? Лодку, которой... Мы трос на ней тянули, а ваши... Она стояла здесь, на берегу. В общем... Я — майор, командир батальона, и приказываю...

— Я тоже майор, и тоже командир батальона.

— Короче, отдадите лодку или нет?

— Никакой лодки я не знаю.

— Значит, не отдадите?

— Оглохли, что ли?

— Хорошо, — голос его принял угрожающе-

ледяной тон. — В три часа здесь будет генерал Мякишев, я думаю, вы его знаете...

— Знаю, — ответил я. Мякишев был начальником инженерных войск армии.

— Вот тогда посмотрите. Доложу ему.

— Ладно, не пугайте. Пуганые...

К двум часам ночи плот был готов — добротный, большой, с перилами и даже настилом. А те все еще возились. Савчук натянул трос, великодушно отдал лодку соседям, и теперь было слышно, как ругаются на том берегу майоровы бойцы, забивая колья.

— Ну что — домой двинем? — подошел и сел рядом со мной Савчук. — Слово сдержал, как видите. К двум кончил — впритирочку.

— Все?

— Все.

— И пристань кончил?

— А как же, — он вздохнул. — Не представляю только, как это две дивизии сразу грузиться будут. Мостик от мостика — метров десять, не больше. Переругаются — вот увидите. Как мы с этим майором.

— Придется тебе посидеть здесь с бойцами, — сказал я, — пока пехота не придет. А то растаскают. А я пойду в штаб, доложу.

Проходя мимо майора, я не удержался и съязвил:

— Привет генералу. И не засиживайтесь особенно — светать скоро будет.

Майор только буркнул в ответ, что где-то в каком-то месте еще поговорит со мной, но мне было наплевать — работа сделана, а впереди еще полночи, можно и заснуть, чего еще

надо. Ноги у меня замерзли, аппетит разыгрался, и я не пошел, а побежал к штабу.

Только стал подыматься по крутой уличке, ведущей к нашему расположению, как налетел на меня отряд всадников.

— Кто идет? — осветил меня кто-то фонариком, — сапер, что ли?

— Сапер, товарищ генерал, — я узнал голос Мякишева.

— Переправу сделал?

— Сделал, товарищ генерал.

— А ну пойдем, покажешь.

Генерал грузно слез с лошади и кинул поводья ординарцу:

— Здесь подождешь.

На переправе генерал зажег фонарик, прикрыв его рукой, и попробовал ногой настил.

— Выдержит?

— Выдержит.

— Ну смотри же, не перекупай мне пушки.

— Товарищ генерал! Это не наш... — подскочил вдруг майор. — Наш вот, правее...

Белый луч фонаря осветил круглое и потное лицо майора со съехавшей на затылок пилоткой и... — ах ты, сукин сын! — погоны старшего лейтенанта.

— Вот сюда, товарищ генерал. Только настил осталось. А там уже...

— Ничего не понимаю, — генерал осветил фонариком соседний плот. — Что значит «наш»? А это чей?

— Мой, — ответил я.

— А ты кто такой?

Я отрекомендовался.

— А ты?

Старший лейтенант стоял и растерянно смотрел то на генерала, то на меня.

— Оглох, что ли?

Старший лейтенант вытянулся:

— Командир роты армейского саперного батальона старший лейтенант Костриков.

— Чего ж глазами хлопаешь?

— А... Тут, товарищ генерал, недоразумение какое-то, сам не пойму.

— Какое недоразумение?

— А мне, видите ли, товарищ генерал, приказано было переправу сделать... Для ихней, теперь оказывается, дивизии... Ну, и мы сделали, и они сделали...

— Две, значит, переправы сделали?

— Выходит, что две.

— И ты что ж, огорчен?

— Не то что огорчен, но, видите ли, товарищ генерал... Мы с ним, — он указал на меня, — поругались даже по этому поводу. А теперь...

— Что теперь?

— Теперь ему ж и сдавать надо.

Генерал хлопнул его слегка по плечу нагайкой:

— Эх вы, саперщики. Горе мне с вами. Нажимай-ка там со своим настилом. А то полки подойдут — не завидую тогда тебе.

Со стороны Кашперовки доносилось уже бряцание котелков, лопаток, сдержанно ржали артиллерийские и обозные лошади.

Месяца через четыре, летом уже, мы попали с этим самым Костриковым в один и тот же

госпиталь — недалеко от Люблина, в Лущуве.

Оба мы были ранены в руку, лежали в одной палате и даже койки свои поставили рядом.

— Ну сознайся, — спросил он меня как-то, — дело уже прошлое, лодку мою вы сперли тогда?

— Мы, — сознался я, — а вы скобы...

Он расхохотался.

— А ты знаешь, что стащили-то мы их только после того, как твой сержант, или кто это у тебя там был, начал скандалить. Мы и не подозревали, что они у вас есть. А он выдал. Я разозлился и велел весь берег обыскать, но скобы у тебя стащить...

Между прочим, я до сих пор не знаю, почему получилось так, что оба наши батальона послали на одну и ту же работу. Но так или иначе, а полк тогда переправился вместо четырех за два с половиной часа.



## ПОСВЯЩАЕТСЯ ХЕМИНГУЭЮ

В Сталинграде, в первом батальоне нашего полка, был знаменитый связист. Фамилии его я уже не помню или, вернее, просто не знал, звали же Лешкой — это помню твердо. Маленький, худенький, с тоненькой детской шейкой, вылеза-

ющей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребенком, хотя было ему лет восемнадцать — девятнадцать, не меньше. Особую детскость ему придавали нежно-розовый, девичий цвет лица, совершенно непонятно как сохранившийся после многонедельного сидения под землей, и глаза — живые, выразительные, совсем не взрослые. Знаменит же он был тем, что много читал. Когда бы вы ни пришли на КП батальона, вы всегда могли застать его в своем углу, у аппарата, с трубкой и с глазами, устремленными в книжку. Наверху гудело, стреляло, рвалось (КП батальона находился в подвале мясокомбината), а он, поджав под себя ногу, листал книгу, время от времени отрываясь от нее, чтоб крикнуть: «Товарищ шестнадцатый, четвертый вызывает».

Знакомство наше произошло не сразу — во время третьего или четвертого моего посещения мясокомбината. В ту ночь он, как всегда, маленький, ссутулившийся, сидел в своем углу и кричал кому-то, что если через час не прибудет положенное количество «семечек» и «огурцов», то четырнадцатый сам пойдет ко второму и тогда шестому не сдобровать, а заодно и одиннадцатому. Когда он прекратил свои угрозы, я попросил его соединить меня с одной из рот. Он соединил, передал мне трубку, а сам уткнулся в книгу.

Я кончил разговаривать. Он попросил закурить. Долго скручивал цигарку, глядя сощуренными глазами на коптящее пламя гильзы, потом сказал:

— Пацан ведь, совсем пацан... А туда же, со взрослыми...

Я не понял:

— Ты это о ком?

— Да о Петьке...

— Каком Петьке?

— Да о Ростове, — и скосил глаза в сторону книги, — не читали разве? «Война и мир» Эл Толстого... (Он так и сказал — Эл Толстого.)

Так началось наше знакомство.

Боец, читающий на передовой книгу, — сами понимаете, явление, не слишком часто встречающееся. И уже одно это должно было привлечь к нему внимание.

Сначала я думал, что он читает просто так, в минуты затишья, чтобы скоротать время. Оказалось, нет. Он обладал каким-то поразительным умением окунаться в книгу с головой, умением моментально переключаться со своих «огурцов» и «семечек» на смерть Пети Ростова или еще что-нибудь, никак не более близкое ему сейчас. Все прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов, иногда просто ставивших меня в тупик.

Я, например, довольно долго пытался убедить его (после того, как он прочел «Изумруд» Куприна), что писатель вправе писать не только о людях, но и о лошадях, и даже от их имени. Он не соглашался:

— Писатель пишет, а ты читаешь и должен верить ему. И веришь. А тут знаешь, что он все придумал, и тоже веришь. Разве можно так, товарищ лейтенант?

Я пытался доказывать, что можно и даже

нужно, но он только пожимал плечами и, чтоб поставить точку в нашем споре (он вообще не любил споров, считая, очевидно, что чем-то обижает меня, не соглашаясь со мной), стал вызывать кого-то в трубку.

Мне очень нравились в Лешке его независимость, его желание иметь и отстаивать свой собственный взгляд на вещи, его сомнения, которые не всегда могли развеять даже такие авторитеты, как Куприн или Толстой, — о себе я уже не говорю. И всегда ему нужно было точно знать, для чего написан тот или иной рассказ, — он был чуть-чуть моралистом. И в то же время он чисто по-детски, эмоционально и непосредственно, переживал все, преподносимое ему книгами. Когда он прочитал «Попрыгунью», он долго не мог прийти в себя. По-моему, он даже всплакнул немного. Это, правда, не помешало ему тут же посетовать на Чехова, почему он так много места уделил «попрыгунье» и так мало такому хорошему, такому умному, такому замечательному Дымову. Ну хоть бы сказал, над чем он работал...

И все это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале мясокомбината, всегда набитом людьми, усталыми, злыми, невыспавшимися, где лежали и стонали раненые, где умирали.

Сейчас, семнадцать лет спустя, я с какой-то особой завистью вспоминаю о Лешке, умевшем с такой легкостью абстрагироваться от всего окружающего. «Прочли ли вы то-то или то-то?» — спрашивают тебя. «Какое там... Времени нету... Давно собираюсь, да все как-то...» А он сидел себе, поджавши ногу, и читал.

Где-нибудь в сети обнаружится порыв — загнет страницу, побежит, починит, вернется и опять глаза в книгу. И в тяжелой нашей, скучной, однообразной фронтовой жизни Лешка стал для меня каким-то просветом, огоньком, на который я всегда с радостью забегал.

Не помню точно когда, кажется в декабре, нас передислоцировали, передвинули правее, на северные скаты Мамаева кургана. Все мы ворчали — пришлось расставаться с привычными, знакомыми участками, обжитыми землянками. А Лешке к тому же пришлось расстаться и со своей «библиотекой». У него действительно была такая — в прошлом, очевидно, клубная, а сейчас никому не нужная, разбомбленная, заваленная кирпичом. Вот туда он и бегал, благо это было совсем рядом и с необстреливаемой стороны. Особой системой его чтение не отличалось. Читал все, что попадалось под руку. Толстой, Чехов (к сожалению, он нашел только один том), Александр Беляев, «Первый удар» Шпанова, какие-то старые журналы с оборванными обложками, а однажды я его застал за чтением Метерлинка, которого он хотя и прочел, но не очень одобрил — впрочем, он вообще не любил пьес. Делал ли он различие в том, что читал? Да, делал. Больше всего он любил трогательное и жалостливое, «чтоб за сердце щипало». Любил про детей, про животных (пожалуй, больше всего из прочитанного его потрясла «Муму»), не любил про любовь, про войну.

К моему величайшему изумлению, более чем холодно отнесся к Жюлю Верну, которым мы в свое время все так увлекались. Кстати, до войны, вернее до Сталинграда, он почти, чтоб не сказать совсем, не читал. Родился и жил в деревне, недалеко от Саратова, кончил шесть классов...

Итак, нас передислоцировали. КП первого батальона перебазировался в бетонную трубу под железнодорожной насыпью, у самого подножия Мамаева кургана. Вот тут-то Лешка и затосковал.

— Неужто у вас ничего нет почитать, товарищ лейтенант? — спросил он меня на второй или третий день после новоселья, сидя у своего аппарата и с тоской перелистывая наставление по стрелковому делу.

В те дни, когда у Лешки была еще собственная «библиотека», у меня на старом месте было тоже что-то вроде этого — десятка два книг, притащенных бойцами из разных развалин. При передислокации большинство из них я оставил в наследство нашим «сменщикам», с собой же взял только четыре книги: «Фортификацию» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа и томик Хемингуэя в темно-красной обложке — «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов». К слову сказать, эту последнюю книгу я украл.

Существует мнение, что кража книг не является кражей. Я эту точку зрения не разделяю. На мой взгляд, кража остается кражей, что бы ни украл — серебряные ложки, брил-

лианты или книгу. Во всех случаях — это преступление. И все-таки Хемингуэя я украл. Украл в штабе армии. Был там один ПНШ — очень начитанный, очкастый, длинноносый майор, в прошлом декан какого-то института, великий книжник. Когда я приходил в штаб по своим саперно-инженерным делам, он обязательно заводил со мной какую-нибудь «интеллигентную» беседу о литературе, шахматах или Художественном театре. В однообразие обычных, осточертевших уже разговоров о минных полях, лопатах, киркомотыгах или новом НП, который надо за одну ночь построить, беседы эти вносили какую-то свежую струю. Но все горе было в том, что майор в своих суждениях был так банален, так любил повторять чужие слова, что под конец мне он просто надоел со своим вечным: «А! Друг мой, зодчий бога Марса», и нудными рассуждениями о музах, молчащих, когда грохочут пушки. Возможно, именно поэтому я и украл у него Хемингуэя. Майор куда-то вышел на минутку, я посмотрел на книгу, которой он только что хвастался («Всю войну с собой вожу, люблю в свободную от исполнения воинского долга минуту перечесть тот или другой рассказик. Большой, очень большой и своеобразный мастер»), сунул ее за пазуху и ушел. И бог его знает почему, но ни тогда, ни сейчас никаких угрызений совести не испытывал и не испытываю.

Когда я нес Лешке книгу, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй не легок, не для всех, к тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что

он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно.

Очевидно, это была очень забавная сцена: сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лешка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильеро, верониках и реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видал в детстве картину «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентино.

Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой, на берег, я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков — наш или не наш? — и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра, к семи ноль-ноль, нужно сдать схему инженерных сооружений обороны полка, которую, заболтавшись, не успел закончить, о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал о Лешке, возможно как раз в эту минуту читающем про мадридского шофера Иполито, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что, не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно

написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным.

В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной, — надо было заканчивать схему.

— А парнишку-то вашего ранило, — подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада.

— Какого парнишку?

— Да того, с первого батальона, что книжки читал... С полчаса как в медсанбат потащили...

В медсанбате (он был в десяти минутах ходу от нас) я застал Лешку приготовленным для эвакуации на левый берег. Ранен он был не тяжело, в руку и ногу осколками, но потерял очень много крови, пока дополз до КП батальона (он уже шел домой после дежурства), и требовалось переливание крови, возможное только в госпитальных условиях.

Он лежал на земле, на подстеленной плащпалатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах.

— Где же тебя кокнуло? — спросил я.

— Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда, — он с натугой улыбнулся,— скоро вернусь. А книжка ваша... — Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой. — Испортил немного, не сердитесь.

Оказалось, что она слегка испачкана кровью, десятка три страниц, по самому краешку.

— Ничего, это ее только украсит, — сказал я. — А прочесть успел что-нибудь?

— Очень мало. Мешали всё. Капитан Коробков дежурил, а он каждую минуту: «Алло! Алло! Положение?» Три штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий — про Пако, помните, как два парнишки в бой быков стали играть и Пако напоролся на нож?

— «Рог быка»?

— Ага, «Рог быка»... — Он мучительно наморщил брови. — Вот глупо получилось, а? Просто ужас... На два дюйма только... Сколько это дюйм?

— Два с половиной сантиметра.

— Значит, на пять сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот... Бывает же такое...— И, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону:— Жаль Пако, хороший парень был.

Больше нам не дали говорить. Подошел врач, и двое санитаров стали перекладывать его на носилки. Прощаясь, я протянул ему книжку:

— Чтоб не скучно в госпитале было.

Он, насколько мог, весело улыбнулся:

— Через неделю вернусь, вот увидите. И книгу верну, ей-богу, вы ж знаете меня...

Но больше я Лешку не видел. Обычная история — из госпиталя отправили в другую часть, и все. Война...

Жив ли Лешка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик

прочел — тогда, в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтоб Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у того много подспудного, недоговоренного, а Лешка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух столь несхожих людях, старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лешкином «жаль Пако, хороший был парень...», в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Иполито. Он сказал о нем: «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Иполито».

И на Лешку, хочется добавить мне.



## ВТОРАЯ НОЧЬ

1

Случалось ли вам когда-нибудь искать нужную вам часть в день, когда началось наступление? Если нет — вам просто повезло. Будь вы даже трижды стреляным-перестрелянным фронтовиком, возвращающимся после недол-

того лечения из армейского или фронтового госпиталя, и то на это у вас уйдет дня три или четыре, если не больше. Что же говорить тогда о новичке бойце, впервые попавшем на фронт? А Ленька Богорад был именно таким бойцом. Было ему восемнадцать лет, и на фронт он попал впервые. Из Камышина до штаба фронта, а затем армии их — сто двадцать человек из запасного полка — вез лейтенант Гурмыза. В штабе армии Леньку и Федьку Кожемякина заставили рыть щели возле хат. Вырыли они восемь щелей по полтора метра глубиной, разровняли землю, замаскировали травой, а тем временем группа их ушла. В довершение всего Кожемякин отравился какими-то консервами, его отправили в госпиталь, и Ленька остался один, как палец. О нем все забыли. Где-то на Донце началось наступление, все бегали как угорелые, и никто не хотел с ним разговаривать. Один только повар из офицерской кухни, которому он принес четыре ведра воды, дал ему полный котелок лапши с маслом и посоветовал обратиться к капитану Самойленко.

— Вон там, где верба сухая. Парень хороший. Попросись в дивизию Петрова. Мировой генерал, и дивизия мировая. Я в ней весь Сталинград кашу варил.

Капитан Самойленко оказался действительно хорошим парнем, не накричал на Леньку, когда, попытавшись козырнуть, он уронил винтовку, а только рассмеялся, сказал: «Эх ты, село» — и дал ему конверт с надписью: «Х-во Петрова, к-ну Переверзеву».

— На Донце ищи, у Богородичного. Они

уже там, вероятно. — И вдогонку крикнул: — Штык, смотри, не потеряй, а то достанется по первое число!

Ленька вышел на улицу, перевернул и привязал штык к стволу, обмотал тряпочкой затвор, чтобы не пылился, и пошел искать Богородичное. День был солнечный, веселый, в сидоре — буханка хлеба, круг колбасы и две пачки пшенного концентрата, за обмоткой — ложка, на боку — котелок, махорки полон кисет и бумаги целая газета — что еще надо? Начальства над тобой нет, иди потихонечку, присаживайся где хочешь, а надоест идти — машин на дороге много, вскакивай в любую, куда-нибудь да подвезет.

И Ленька шел и ехал, глазея по сторонам. Черт-те что творится! Он никогда не видал такого количества пушек и тридцатьчетверок. Так прямо и прут среди бела дня, громыхают, пылят, и все в одну сторону. Раза два прогнали партии пленных немцев, и Ленька даже соскочил с машины, чтобы посмотреть на живого фрица, — до сих пор он их только в газете на карикатурах видал. Разочаровался. Люди как люди — пыльные, усталые, только сидора раз в десять больше, чем у нас, и в землю все смотрят. Один раз пролетел «мессер», кто-то крикнул «воздух», но разбежаться не успели — «мессер» улетел.

Все шло чин чином — с машины на машину, с повозки на повозку, — пока не оказалось, что день кончился, полбуханки и круг колбасы съедены, а до Богородичного как было, когда он выходил, двадцать километров, так и осталось.

Ленька свернул с дороги, наткнулся на какой-то куст и завалился — сидор под голову, винтовку меж колен.

Всю ночь трещали над головой «кукурузники», где-то за горизонтом вспыхивали ракеты и стреляли пушки — днем их почему-то не было слышно, сейчас же грохотали без умолку. На дороге лязгали гусеницы, доносились откуда-то голоса. Ленька ворочался с боку на бок и никак не мог заснуть. Стало вдруг жалко самого себя: валяешься вот под кустом, а ребята ушли, и ни с кем не попрощался — будь они трижды прокляты, эти щели! — ни с Ванькой, ни с Глебкой Фурсовым, ни с лейтенантом Гурмызой. Неплохой все-таки лейтенант был — за две недели один раз только на него накричал, когда курицу поймал, а так очень обходительный командир. Потом в голову полезли всякие мысли. Мария Христофоровна — молодая учительница. Как она, когда его в армию брали, принесла тетрадку и карандаш, чтобы письма писал. Потом еще что-то, тоже жалостное, еще что-то, и еще, и наконец заснул.

2

Проснулся — и все как рукой сняло. Небо голубое, кузнечики кричат, над головой жаворонки — как будто и войны никакой. Доел остатки колбасы, винтовку на плечо — и пошел. От встречных раненых — Ленька с уважением смотрел на этих усталых и совершенно серых от пыли людей, ковылявших по дороге,— узнал, что Богородичное на том берегу Донца, километрах в пяти или десяти, а

может, и пятнадцати, но кто там — немцы или наши, — никто толком не знал. О хозяйстве Петрова тоже не слыхали — иди разберись, где там чье хозяйство. А вообще «идет дело помаленьку», просили закурить и шли дальше.

Часам к трем верхом на «катюшиных» снарядах добрался наконец до Донца. Речушка так себе — желтенькая, мутная, один берег пологий, другой — в гору. Лозняк вдоль дороги и у моста забит машинами, повозками. На обочине сидят бойцы, покуривают. Красные, потные лейтенанты бегают от одного к другому и загоняют в кусты. Бойцы неохотно поднимаются, делают шагов десять и опять усаживаются. У самого понтонного моста молодой парень, в танкистском шлеме, с красным флажком в руке, поочередно пропускает на мост то транспорт, то пехоту. Пыльно. Жарко.

Ленька пересек железную дорогу, примазался к какой-то части, прошел с ней мост и только подумал: «А что, вдруг фриц сейчас налетит?», как откуда-то посыпались бомбы. Очнулся Ленька под мостом, по горло в воде. Как он туда попал — один бог знает. Трясло всего, с головы до ног. Кое-как вылез на берег, волоча за собой винтовку, перелез через перевернутую пушку, упал, встал, опять упал, опять встал. Кто-то кричал визгливым голосом: «Рятуйте, рятуйте!» Билась на дороге лошадь, вытянув морду. Промчалась мимо никем не управляемая повозка, теряя какие-то ящики.

Ленька побежал. Бежал, ни на кого не глядя, ничего не слыша, ничего не видя, все

вверх и вверх по дороге, подальше от моста. Выбился из сил у опушки какой-то рощи. Сел. Пилотки нет, все мокрое, в ботинках хлюпает. Шагах в двухстах от него какие-то бойцы варят что-то на костре. Ленька подошел, спросил, не знают ли они, где хозяйство Петрова. Нет, не знают, сами недавно пришли.

Пошел дальше. При звуке самолета сворачивал с дороги и шел прямо через кустарник. Опять стала слышна стрельба орудий. По дороге один за другим, подымая клубы пыли, проносились здоровенные «студебеккеры» с боеприпасами. А Ленька все шел, спрашивая всех встречных, но никто толком не мог объяснить. Одни не знали, другие чесали затылки и говорили, что «кажется, за той рощей какой-то штаб стоит», третьи просто ничего не отвечали.

Наконец напоролся на раненого, попросившего закурить. Оказалось, слава тебе господи, из петровской дивизии.

— Тебе какой полк нужен? — спросил раненый.

— Не полк, а штаб дивизии.

— Это не знаю, — устало ответил раненый и принялся перематывать черный от пыли бинт на ноге.

— А ты с какого? — спросил Ленька.

— С тридцать третьего.

— Далеко отсюда?

— Да как сказать... Километров так... В общем... Топай по дороге во-он до того столба — видишь, на проводах висит? Налево

овраг будет. Вот по оврагу и двигай, дойдешь...

Ленька присел — сбилась портянка.

— А фронт где? Далеко?

Раненый посмотрел на простецкую круглую Ленькину морду и улыбнулся одними губами.

— А вот он и есть — фронт-то...

— Как так?

— А вот так. Лесочек видишь? Так там уже фриц.

— Почему ж не стреляет? — удивился Ленька.

— Ужинает, потому и не стреляет.

Помолчали. Потом Ленька спросил:

— Ну, а вообще как? Драпает фриц?

— Да не очень. «Ванюши» подтянул и минометы. Хорошо еще, авиации пока нет.

Ленька удивился — как же нет, когда он сам под бомбежку попал.

— Да разве это бомбежка? Ты, брат, бомбежек, значит, не видал...— И раненый устало, но с подробностями стал рассказывать обычную историю о бомбежках, о том, как рядом с ним, «ну вот так, как отсюда до того дерева», упала бомба и всех убила, а его даже осколком не задела. Рассказал, встал, посмотрел на темнеющее уже небо, поблагодарил за махорку и двинулся, прихрамывая, в сторону реки. Отойдя шагов двадцать, обернулся и крикнул вдогонку: — Где развилка оврага будет, направо валяй, а не налево, а то к фрицам попадешь!

Ленька миновал столб, свернул с дороги и пошел по дну оврага. Быстро темнело. Где-то слева застрочил пулемет. Потом справа, сов-

сем близко. Стало как-то не по себе. Ленька вынул из мешка патроны, рассовал по карманам, проверил затвор — все в порядке. Дошел до развилки, свернул вправо. Еще полкилометра, и — что за черт! — овраг кончился. Полез по откосу, добрался до края, высунул голову. Пусто. Впереди темнеет роща. Только сделал шагов десять — выстрел: один, другой, третий, и над самой головой засвистело. Ленька назад, кубарем на дно оврага. Что за чертовщина? Куда же это его занесло? И куда идти? Вперед, назад? Решил — назад. Стало совсем темно — ни черта не видно. Дошел опять до развилки. Остановился. Откуда-то слева донеслись голоса. Ленька почувствовал, как под мышками у него потекли ручейки. Прижался к земле. С левого берега оврага один за другим спускались какие-то люди. Слышно было, как у них из-под ног сыпалась земля и как тяжело они дышали. «Наши», — подумал Ленька, и в этот момент кто-то совсем рядом с ним вполголоса выругался. Ленька приподнялся.

— Эй, друг...

Щелкнул затвор.

— Кто там?

— Да свой, свой... Не с тридцать третьего?

Человек приблизил свое лицо вплотную к Ленькиному:

— Нет, не с тридцать третьего. А зачем он тебе?

— Как зачем? Надо.

— Пулю тебе в лоб надо, вот что... Шляешься тут в темноте, а твой командир с ног сбился, ищет...

Кто-то впереди позвал громким, сдавленным шепотом:

— Кравченко... Кравченко...

— Да тут я... — таким же шепотом ответил боец и скрылся в темноте. Некоторое время было слышно еще, как сыплется на дно оврага земля, потом опять стало тихо.

Ленька посидел еще немного, потом решил вылезти из оврага и пойти в ту сторону, откуда пришли бойцы. Заметить сейчас его уже никто не мог. Небо заволокло тучами, и ни звезд, ни луны не было видно. Начал накрапывать дождик. Время от времени где-то совсем рядом взвивались ракеты. Ленька ложился на живот и ждал, пока они не погаснут. Ракеты бросали слева, и Ленька решил двигаться правее — там виднелись не то хаты, не то стога сена.

Прошел метров двести, как вдруг из-под самых ног кто-то:

— Майборода, ты?

Ленька вздрогнул.

— Какого лешего пропал? Нашел наших?

Ленька ударился обо что-то твердое. Заржала лошадь. Повозка, что ли?

— Чертова кобыла, — продолжал голос из темноты. — Ну, нашел, спрашиваю?

— А ты кого ищешь? — Ленька сел на корточки, стараясь рассмотреть говорившего. Голос доносился откуда-то снизу.

— Как кого? А ты кто?

— А ты?

— От нечиста сила! — выругался невидимка. — Подавиться им на том свете, всем этим фрицам и гитлерам. Холера им в бок! —

И неожиданно перейдя на просительную интонацию: — Помоги, браток.

Взвилась ракета. При свете ее Ленька увидел накренившуюся набок груженую повозку, лошадь, спокойно щиплющую высокую траву, и бойца, уткнувшегося лицом в землю.

Ракета погасла.

— Подсоби, друг,— опять заговорил боец.— Может, вытянем как-нибудь. Майбороду только за смертью посылать. Говорил я ему — по дороге надо ехать.

— А что везете? — спросил Ленька.

— Да мины чертовы эти, кто их только придумал!

— Ну, давай... — Ленька обошел повозку и стал щупать колесо. — Э, друг, да оно сломалось у тебя.

Боец выругался длинно и заковыристо и стал объяснять, что капитан, мол, велел как можно скорее доставить мины и Майборода — вечно он чего-нибудь придумает — сказал, что так, мол, через поле, на добрый километр короче. Вот и докатились. А тут еще фриц из минометов каждые двадцать минут шпарит.

В это время явился откуда-то и сам Майборода.

— Копыця, где ты?

— Явился. Ты б еще три часа гулял.

— Нашел. Метров триста отсюда.

— Спасибо тебе в шапочку. Колесо сломали.

— Ну?!

— Вот те и ну.

— Холера чертова... А капитан уже

ругаются. Двести метров, говорит, осталось, а там танки ихние уже гуркотят.

— «На километр короче, на километр короче»... — передразнил первый. — С этой шкапой только и сокращай. Сколько их там, в повозке?

— Штук шестьдесят, что ли.

— В десять ходок уложимся?

— По четыре за раз брать — уложимся, — ответил Майборода.

— Может, вот парень еще подмогнет. Где ты там?

Стали в темноте разбирать мины. Оказалось, что они не минометные, как решил сначала Ленька, а саперные здоровенные деревянные ящики, килограммов этак по шесть — семь. Пришлось связывать их попарно проволокой, а чтобы не резало плечи — снять гимнастерку и подложить под проволоку. Возились долго — искали в повозке проволоку, обматывали мины. Наконец пошли: Майборода впереди, за ним Копыця, последним Ленька. Идти было трудно — грунт мягкий, много воронок, под ногами ничего не видно, винтовка мешает, при каждой ракете садись на корточки. Ко всему Майборода в темноте, очевидно, сбился — триста метров давно уже позади остались.

То тут, то там натыкались на окапывающихся бойцов — должно быть, пехота занимала оборону. Хорошо, с минометами еще повезло — немцы перенесли огонь левее, не пришлось пережидать.

Майборода вдруг остановился.

— Вот здесь, кажется. — И скинул мины наземь. — Кидай!

Ленька осторожно снял свои и положил рядом. От напряжения весь был мокрый, хотя шел без гимнастерки и даже без рубашки.

— Капитан... а, капитан! — сдавленным шепотом позвал Майборода. Никто не отвечал. — Товарищ капитан, где вы? Мы мины принесли.

— Они там... — донесся откуда-то со стороны слабый голос. — На минном поле.

— Кто это? Русинов? — спросил Майборода.

— Ага.

— Ранен, что ли?

— Да вроде как. А Кирилюка наповал. Так там и остался.

— Да где же ты?

— Тут, у лопат... А капитан там. Мины ставит... заместо меня.

— Далеко?

— Да нет. Метров пятьдесят. Правее туда.

— Доложить бы надо, — неуверенно сказал Майборода и кашлянул. — Противопехотных не ставили?

— Нет, не ставили. Валяй смело, не подорвешься... Водички нет, ребята?

— На повозке осталась. Подожди до следующей ходки.

Из темноты неожиданно появилась фигура.

— Сюда, сюда, товарищ капитан, — обрадовался Майборода.

Тот, кого назвали капитаном, сел на корточки.

— Где пропадали, черти? Из-за вас... А это кто — третий?

— Боец один, мины подсобил тащить. Повозка-то сломалась.

Капитан выругался.

— А сколько привезли?

— Шестьдесят.

— Черт! Не везет просто. Двоих из строя вышибло, через час светать начнет. — Капитан в сердцах сплюнул. — Ну ладно. Так сделаем — Майборода с Копыцей за минами, чтоб через полчаса все были здесь. А ты... Как твоя фамилия?

— Богорад.

— Поможешь Русинову до расположения добраться. Он дорогу знает.

Раненый заворочался в темноте.

— Не надо, товарищ капитан. Я здесь, в окопчике, полежу. Пускай лучше мины таскает.

Капитан помолчал, потом посмотрел на часы со светящимся циферблатом.

— Два часа уже. Вот бежит время! — И встал. — Солдат, где ты?

— Здесь.

— Бери мины и за мной. Осторожно только.

Ленька отполз в сторону, разыскал мины, взвалил на плечи и, согнувшись, пошел за капитаном.

— Клади.

Ленька положил.

— Теперь слушай внимательно. — Капитан сел на корточки, взял Ленькину руку и стал шарить ею по земле. — Видишь, ямки вырыты? Рукой пощупай. Рядом с ней и клади

мину. Через четыре метра будет другая, через четыре — еще одна. Потом второй ряд — то же самое. Понял? Вот это и будет твоя задача — все мины разнести по ямкам.

Капитан говорил шепотом, но так спокойно и неторопливо, что Леньке как-то легче даже стало. Он разложил принесенные четыре мины и пошел за другими. Когда уложил двенадцатую и вернулся назад, Майборода с Копыцей принесли уже следующую партию — на этот раз они обернулись довольно быстро.

Кругом было удивительно тихо. Шум моторов прекратился. Только где-то очень далеко пофыркивал пулемет. Дождик перестал, потом опять пошел — мелкий-мелкий, даже приятно разгоряченному телу. От темноты, от тишины, от того, что таскал эти мины, которые никогда в жизни не видал и от которых взрываются танки, было жутковато, но Ленька старался ни о чем не думать, а только таскать и укладывать, таскать и укладывать.

Один раз, когда среди мертвой тишины где-то вдруг заскрежетало и заныло и высоко над головой пронеслись огненные хвостатые снаряды, Ленька бросился на землю и прижался к кому-то, упавшему рядом с ним. «Страшно?» — услышал он над самым ухом и попытался перестать дрожать, но не смог. «Ничего, солдат, обвыкнешь!»— Ленька узнал голос капитана. — «А почему без рубашки? Может, потому и дрожишь?» Ленька ничего не ответил, поднял мины и пошел дальше.

Кончили, когда начало уже светать. Раза два немцы открывали огонь из минометов, но

все обошлось благополучно. Собрали лопаты, ящики с оставшимися взрывателями и двинулись в расположение. Шли молча, один за другим, усталые, мокрые, тяжело шагая по размокшему чернозему. Двое бойцов вели раненого, двое несли убитого. Хотелось спать, больше ничего. Даже курить не хотелось. Когда пришли, Ленька камнем упал под первым кустом, так и не увидев в лицо тех, с кем провел свою первую боевую ночь.

## 3

— Эй ты, проснись... Орел!

Ленька вскочил и, ничего не понимая, захлопал глазами.

— Сколько спать можно? Ребята уже давно позавтракали.

Щупленький хитроглазый боец в выцветшей гимнастерке стоял перед ним и смеялся.

— А рубаха где твоя? Потерял с перепугу?

Ленька посмотрел по сторонам — действительно, в одних штанах, гимнастерки нет. Вот голова, забыл-таки там.

Боец подсел.

— Не узнаешь? Майборода.

— А-а... — неопределенно сказал Ленька и поежился: было довольно прохладно.

Майборода звонко шлепнул его по спине.

— Ну и здоров же ты, парень. Знал бы раньше, не отпустил бы, когда мины таскали! — Он критически осмотрел Леньку с ног до головы, тот до сих пор никак не мог проснуться. — Пойди хоть морду ополосни. Капитан уже спрашивал тебя. — И опять

хлопнул его по спине. — Бычок, ей-богу. Да очухайся ты наконец! А я в повозке поищу — может, найду чего.

Через минуту он прибежал с майкой в руках — «валяй пока это, потом на складе поищем что-нибудь более подходящее». Ленька с трудом натянул на себя узкую ярко-оранжевую майку.

— Пошли к капитану. Пилотку только надень.

Но капитана в палатке не оказалось. Сидевший у входа боец — ординарец должно быть, — не поворачиваясь, буркнул «сейчас придут» и продолжал чистить песком котелок. Майборода вытащил из кармана круглую коробку с махоркой и развалился у входа в палатку. Кругом был лесок — молоденький, свеженький, летали какие-то желтые бабочки, где-то над головой стучал дятел.

— Да-а... А Кирилюка вот и нет, — сказал Майборода и протянул Леньке коробку. — Закуривай. И двое пацанов осталось. — Он как-то боком посмотрел на Леньку. — Не женат?

— Не... — почему-то смутился Ленька.

— А у того двое пацанов. И ведь тоже молодой, с двадцать третьего года. Ты с какого?

— С двадцать пятого, — ответил Ленька.

— А он с двадцать третьего. На два года только старше тебя. Весь Сталинград сохранился, а тут... — Майборода как-то с присвистом вздохнул. — Вон под теми сосенками похоронили. Я утром посмотрел, аж страшно стало. Вот по сих пор, — он провел рукой над бровями, — снесло. Так мозги и вывалились...

Помолчали. Майборода повернулся к ординарцу.

— А далеко капитан пошел?

— А я хиба знаю, — не поворачиваясь, ответил парень. — Мне пока не докладывают.

— Командир батальона, что ли? — спросил Ленька.

— Ага, сейчас командир. Орлик его фамилия — чудна́я такая. Был замкомбатом, а как майора Селезнева на Донце кокнуло, стал командиром.

— Тоже сталинградский?

Майборода мотнул головой.

— Нет, из новеньких. К концу Сталинграда только пришел. С госпиталя прямо. С палочкой еще долго ходил.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что капитан с майором были не в ладах. Майора в батальоне не любили — он был из тех командиров, которые на фронте тише воды, ниже травы, а в тылу расправляют плечи и без толку орут на подчиненных. С этого и начались раздоры.

— Ты про Ляшко, про лейтенанта, расскажи, — всучился в разговор ординарец, совсем еще молоденький паренек, тщетно старавшийся придать своему детскому голосу солдатскую грубость. Он уже кончил чистку котелка и старался ввязаться в разговор, но так, чтобы не уронить своего достоинства. — Здорово его капитан отбрил тогда, а?

— Дай бог как, — усмехнулся Майборода и повернулся к Леньке. — Напился, понимаешь, майор раз пьяный и лейтенанта Ляшко, командира первой роты, матом при

всех обложил. И перед строем. Лентяй, мол, бездельник, воевать не хочешь. А капитан стоит, слушает, покраснел весь, и челюсти только ходуном ходят. А потом: «Стыдно мне, говорит, за вас перед бойцами, товарищ майор. Ляшко — лучший офицер батальона и, когда перед строем стоит, четвертинкой из кармана не светит». Хлопнул хлыстиком, повернулся и ушел. Ну, после этого как началось, как началось... И к подворотничку, и к сапогам брезентовым придираться стал, и рапорт, мол, не так написан, и так далее, и так далее... Пока война не началась. А началась — майор сразу шелковым стал. Капитан, тот всегда с людьми — и на походе и на переправе, а майор, тот нет, больше все на повозочке или: «На НП, к комдиву пойду, покомандуй тут, капитан, без меня». Ну вот на НП-то его и поймала шальная пуля. Жаль, ранение пустяковое, мускул на руке задело, в неделю заживет. — Майборода сокрушенно вздохнул. — Да... С капитаном веселее как-то, ей-богу! — И неожиданно вдруг рассмеялся, черные хитрые глазки его даже заблестели.— Ну а то, что бабы по нем сохнут, так разве это он виноват? Сами липнут как мухи...

— Когда на формировке стояли в Червоно-троицкой... — начал было ординарец, но Майборода его перебил:

— А ты не вмешивайся. Чисти свой котелок и помалкивай. Вон все дно черное.

— Черное... черное, — обиделся ординарец. — Расселся тут, как барин, окурки свои паршивые накидал. Вон капитан идет, покажет он тебе.

— Ты чего там уже рычишь? — издали еще крикнул капитан. — Хозяином почувствовал себя?

Высокий, статный, в сбитой на ухо синей пилотке с голубым кантом, в расстегнутой гимнастерке, в легоньких хромовых сапожках, он шел ленивой, слегка вразвалку, походкой, сбивая хлыстиком листья с кустов.

— Вот ты какой, значит, — сказал он, подойдя и хлопнув Леньку хлыстиком по груди. — Богорад, кажется?

— Богорад Леонид, — как можно бойче ответил Ленька, расправив плечи и прижав сжатые кисти рук по швам.

— А отчество?

— Семенович.

— Ну заходи, Леонид Семенович, потолкуем.

И, наклонившись, вошел в палатку. Ленька и Майборода — за ним. Капитан бросил хлыстик на кучу травы, прикрытую одеялом, повернулся, засунул руки глубоко в карманы и, слегка раскачиваясь, осмотрел Леньку с головы до ног. Ленька стоял, выпятив грудь, поджав живот, в ярко-рыжей, треснувшей уже под мышкой майке, набрав полные легкие воздуха, чтобы казаться еще здоровее. Капитан улыбнулся.

— Да ты не тужься. И так вижу, что здоровый. Копать умеешь?

— А что же тут уметь, товарищ капитан?

— А ну, согни руку.

Ленька напряг мускул. Капитан пощупал.

— Дай бог. Тебе бы такие, Майборода, хоть польза какая была бы. А то только языком и умеешь.

— Молодое, что вы хотите, товарищ капитан. А я уже старик, скоро тридцать. Языком-то легче, чем руками.

Ленька стоял красный от похвалы и не знал, что бы сделать такое, чтобы еще больше понравиться капитану.

— У вас гири нет, товарищ капитан? — спросил он.

— Какой гири?

— Обыкновенной. Пудовой, двухпудовой. Я одной рукой могу...

— Ладно, — перебил капитан. — У нас тут не цирк. У нас надо землю копать. По восемь, десять, пятнадцать часов. Пока орден заработаешь, не одно ведро поту потеряешь. Это тебе не пехота — в атаку ходить и «ура» кричать. Мины знаешь?

— Мины? — Ленька растерялся.

— Так точно, товарищ начальник. Те самые, что вчера таскал, — «ЯМ», «ПМД», «ПОМЗ». А? По глазам вижу, что и названия-то в первый раз слышишь. А «ТМБ»? Тоже не знаешь? — Капитан свистнул. — Плохо дело. А я-то думал...

Он сделал паузу и уголком глаза глянул на Леньку. Ленька стоял красный, растерянный. Ему до смерти хотелось понравиться капитану, но он не знал, как это сделать, и от беспомощности только краснел.

— У тебя что, направление есть какое-нибудь? — спросил капитан.

— Есть.

— А ну покажи.

Ленька полез в карман и вытащил мятый, замусоленный конверт. «Теперь все. В диви-

зию пошлет». Капитан прочел и вернул обратно.

— М-да... Так «ТМБ», значит, не знаешь?

— Не... — упавшим голосом ответил Ленька.

— Годен, не обучен?

— Почему не обучен? В запасном нас...

— Чучело кололи? Коротким коли, сверху прикладом бей?

— Не только чучело, — обиделся Ленька.— Гранату кидать, и «Дегтярева» собирать и разбирать, и винтовку чтоб назубок, и по-ползунски лазить...

— Как, как? — переспросил капитан.

— По-ползунски, говорю, лазить.

Капитан рассмеялся.

— По-ползунски, говоришь? Ну, а сапером хочешь быть?

— Хочу.

— За неделю берешься выучить все наши премудрости?

— Берусь, товарищ капитан.

— Вон он какой, смотри. Люди годами учат, а он за неделю... — И повернувшись к Майбороде: — Отведи-ка его к Ляшко в первую. И гимнастерку подыщи. Поприличнее только. А теперь — кругом, шагом марш!

Ленька лихо козырнул, повернулся на каблуках и строевым зашагал из палатки.

Капитан ему понравился: молодой такой и уже орден, и красивый, как черт, — кудрявый, смуглый, брови черные, — и отчаянный, должно быть, по глазам видно. Да и вообще все складывалось хорошо. И Ленька пошел на кухню знакомиться с поваром.

4

Саперный батальон, в который попал Ленька, входил в состав весьма заслуженной гвардейской дивизии — «Сталинградской непромокаемой», как в шутку называли ее бойцы. Боевое крещение получила она летом сорок второго года под Касторной, потом выстояла весь Сталинград, от начала до конца, и в начале марта сорок третьего собралась на восток формироваться. Но тут немцы захватили вторично Харьков, и дивизию спешным порядком перебросили на Украину, решив, очевидно, пополнить на ходу. К моменту прибытия ее на фронт немцев сдержали, бои прекратились и началось «великое стояние», длившееся месяца три, если не больше.

Расположились в живописных украинских селах с тополями, ставками и прочими деревенскими прелестями и принялись за то, что на языке военных донесений называется «боевой подготовкой», на языке же бойцов — «припуханием», иными словами — набирались сил, получали пополнение, изучали материальную часть, уставы, занимались тактическими играми: «взвод, рота, батальон в наступлении, обороне, разведке», ну и — без этого никак уж нельзя — копали бесконечное количество окопов и ходов сообщения, всю землю вокруг сел изрыли.

Жили сперва в хатах, потом выстроили себе комфортабельные землянки, обзавелись подсобными хозяйствами, ели борщи из свежей зелени, пили молоко. Офицеры стали фран-

тить: завели себе какие-то особенные кинжалы с пластмассовыми ручками, болтающиеся, как кортики, где-то у самых колен, шили новые гимнастерки и галифе, увлекались только что полученными погонами — втискивали под подкладку куски жести и целлулоида, чтобы не мялись, — и мастерили из плащ-палаток легкие летние сапожки, крася их потом в черный цвет, чтобы не поймало начальство, запрещавшее использование плащ-палаток не по назначению.

Одним словом, отдохнули на славу, хотя, как это уж заведено, и ворчали, что нет хуже формировок: «То ли дело на фронте — никаких тебе конспектов, расписаний и занятий — воюй, и только...»

Так прошел апрель, май, июнь.

Пятого июля над расположением дивизии целый день куда-то пролетали «кукурузники». На следующий день сводка сообщила, что начались бои в районе Курска. Вечером дивизия поднялась и двинулась на юг, а еще через несколько дней совместно с державшими оборону частями форсировала Донец и закрепилась на южном его берегу.

Саперный батальон в течение полутора суток обеспечивал переправу, к концу вторых суток с реки был снят и перекинут на передовую — минировать, разминировать и копать бесконечные НП и КП.

Вот в самом сжатом виде и вся история подразделения, рядовым бойцом первой роты которого стал Ленька Богорад. Выдали ему автомат, новую гимнастерку с погонами, негнущиеся английские ботинки сорок первый

номер, саперную лопату, на которой он сразу вырезал ножом «Л. Б.», и в очередном донесении дивинженеру цифру в графе «Личный состав батальона» увеличили на единицу, не вдаваясь в излишние подробности.

И сразу Ленька стал своим человеком. Во-первых, у него был веселый нрав, а уж одно это многого стоит, во-вторых, был он услужлив и покладист, в-третьих, любил работать — вернее, не любил бездельничать. Ко всему этому у него была славная морда — курносая, веселая, с кучей веснушек, разбросанных по всему лицу, вплоть до ушей.

Первое время над ним немножко подтрунивали, вспоминая, как он забыл на передовой свою гимнастерку, но Ленька так добродушно все это принимал и сам так забавно рассказывал о впечатлениях той ночи — как тащили они втроем мины и как потом он «ванюши» испугался, — что все остроты отскакивали от него, как от брони. Когда же при копке котлована для опергруппы штаба он перекрыл вдвое все существующие в наставлении нормы земляных работ, оставив далеко за собой такого здоровилу, как Тугиев, даже ничему никогда не удивляющийся лейтенант Ляшко сказал: «Ого!»

На второй день крикливый и бранчливый повар Тимошка, у которого лишней ложки каши никогда не выклянчишь, подкидывал ему в котелок добавочный кусок мяса, начальник артснабжения разрешил разобрать и собрать трофейный «вальтер» и сделать даже парочку выстрелов, а пухленькая розовощекая Муся — писарша штаба, — жеманно скла-

дывая губки, говорила: «Вы очень, очень похожи на моего одного очень, очень хорошего знакомого» — и в меру своих возможностей загадочно улыбалась. Даже замполит, серьезный очкастый майор Курач, благоволил к Леньке, хотя в вопросах политики Ленька разбирался, пожалуй, не лучше, чем в высшей математике.

Одним словом, Леньку все полюбили, а он если иногда и злоупотреблял этим, то, во всяком случае, не часто и никому не во вред. Вообще же чувствовал себя со всеми хорошо и свободно и только черт знает почему одного капитана Орлика стеснялся. Подойдет капитан, станет, глаза черные с золотистым отливом, слегка насмешливые, и эта сбитая пилотка над чубом, засунет руки в карманы и спросит: «Ну как, Леонид Семенович, не надоело копать, может, перекур устроим?» Сядет, закурит, ребята вокруг смеются, острят, а Ленька как воды в рот набрал. Или позовет к себе в палатку и по саперному делу начнет что-нибудь спрашивать, вроде экзаменует. А Ленька в два дня все мины назубок выучил, и как заряжать, и как бикфордов шнур зажигать, а вот надо блеснуть перед капитаном — и все из рук валится, и спички ломаются, не зажигаются.

Короче говоря, Ленька влюбился в капитана. Влюбился так, как влюбляются школьники в своих старших товарищей. Пытался даже подражать его манере курить и походке, но разве в этих бутсах пройдешь так легко! А капитан не замечал или делал вид, что не замечает, и Леньке оставалось только меч-

тать о том дне, когда он отличится в бою или, еще того лучше, рискуя собственной жизнью, спасет капитана от смерти. Вот тогда он увидит, на что Ленька способен. Но случай этот не подворачивался, батальон занимался теперь самым прозаическим на фронте занятием — рыл землянки и рубил лес для перекрытия, — и спасать капитана можно было разве только от штабных начальников: каждый из них требовал, чтобы именно его блиндаж был сделан в первую очередь и перекрыт не в два, а в четыре наката.

## 5

На южном берегу Донца, начиная от Изюма и дальше на восток, завязались бои. Несколько позднее в сводках Информбюро о них писалось: «Бои местного значения, имеющие тенденцию перерасти в бои крупного масштаба». Дивизия, в которую входил батальон, обогнув слева Богородичное, прошла с боем еще несколько километров, очутилась перед селом Голая Долина и там стала. Немцы окопались, подтянули технику и пытались даже перейти в контрнаступление, которое, правда, окончилось безуспешно, но на довольно долгое время задержало наше продвижение вперед.

В ходе боев одному из полков дивизии удалось захватить немецкую дальнобойную батарею — шесть громадных стопятидесятичетырехмиллиметровых гаубиц. Полк получил благодарность, но командир его, предчувствуя, что немцы попытаются отбить пушки

обратно, затребовал роту саперного батальона — пускай заминируют батарею хотя бы против танков.

Первая рота как раз кончала маскировку землянок для опергруппы штаба, когда прибежал запыхавшийся Шелест — тот самый ординарец Орлика, который чистил котелок, — и сообщил, что «капитан велели к новой землянке не приступать, а сейчас же в расположение возвращаться».

По дороге Ленька подлатался к Шелесту.

— Наступать, что ли, будем?

— Не отступать же, — уклончиво ответил Шелест. Парень он был неплохой, но как человек, ближе других стоящий к начальству и раньше всех узнающий все, немного задирал нос.

— Говорят, двадцать седьмой батарею какую-то захватил?

— Говорят.

— Ну а капитан, что говорит?

— Живот, говорит, болит.

— Ну тебя! Как человека ведь спрашиваю.

Шелесту самому до смерти хотелось рассказать последние новости, но надо ж набить себе цену, поэтому минут пять он еще пыжился, пока не сообщил наконец, что Богородичное наши взяли, но много народу потеряли и что у фрица «ванюш» до черта и какие-то «тигры» и «фердинанды» появились, танки, что ли, новые. Говорят, ни один снаряд пробить их не может.

— А на минах рвутся?

— На минах? — Шелест этого не знал, но,

не желая терять достоинства, отвечал, что на минах рвутся, только не так быстро. Что значит «не так быстро», он еще не придумал, но сама по себе эта деталь казалась ему вполне правдоподобной.

— Между прочим, капитан лейтенанту Ляшко говорил, чтоб внимание на тебя обратил.

— Как это — внимание? — Ленька насторожился.

— Ну, чтоб подзанялся с тобой. Парень, говорит, туповатый, так ты сам с ним позанимайся, а то скоро на задания пошлем, того и гляди подорвется на мине.

На самом деле разговор проходил в несколько других тонах, но почему в конце концов не подразнить парня?

— Так и сказал — туповатый?

— Так и сказал.

— Врешь!

— Нечего мне делать, как врать. Такой, говорит, медведь неотесанный, сегодня чуть-чуть мне голову, говорит, учебной гранатой не оттяпал.

— Так прямо лейтенанту и сказал?

— Так прямо и сказал. А лейтенант подумал-подумал и говорит... — Шелест на минутку остановился, чтобы придумать, что же ответил лейтенант.

— Ну?

— И говорит ему, значит: «А может, мы зря его к себе в батальон взяли?»

— А капитан?

— Да не перебивай ты, черт! «Может,

говорит, отдадим его в стрелковый полк какой-нибудь, меньше хлопот будет?»

— Ну а капитан?

— А капитан похмыкал там чего-то и говорит: «Может, и отдадим. Попробуем, говорит, на первом задании, проверим, стоящий ли парень или так, дерьмо».

— Это ты уж трепешься — «дерьмо» не говорил.

— Может, и похуже сказал.

— А ну тебя к лешему! — Ленька обиделся и отошел. — Придумал все... — Но на душе стало горько и противно.

...Вот вернется он с первого своего задания, подорвет этот самый «тигр», или как его там, и никому ничего не скажет. Вернется и спать ляжет. А на следующий день по батальону только и разговору — кто ж это «тигра» подорвал? А он молчит, ни звука. Тугиев? Нет. Сержант Кошубаров? Нет. Может, сам лейтенант Ляшко? Тоже нет. Кто же тогда? А все дело в том, что из батальонных никто и не видал, как он подорвал, видали стрелки только. Вот они и скажут своему командиру, а тот своему, и так далее, до самого верха, — боец, мол, Богорад из восемьдесят восьмого «тигра» подорвал. И вот генерал вызывает его... Нет, из-за этого генерал не станет к себе вызывать, просто благодарность в батальон пришлет: «За то-то и за то-то объявляю, мол, благодарность бойцу Богораду Леониду Семеновичу». И капитан тут как покраснеет, хлыстиком начнет по сапогу бить и спросит: «Что же это ты молчал, Богорад?» И тут ему Ленька ответит: «А чего мне было говорить,

когда меня из батальона отчислить хотят и дерьмом считают». А капитан ему...

В этом месте Ленька споткнулся обо что-то и со всего маху налетел на впередиидущего.

— Ты що, сказывся, чи що? Очи повилазили?

Ленька ничего не ответил, отошел в сторону, но нить рассказа была уже порвана, и что ответил ему капитан, так и осталось неизвестным.

В расположении успели только быстро, на ходу, поужинать и сразу двинулись в путь. До батареи было километра четыре или пять, и Ляшко надеялся до рассвета успеть заминировать хотя бы основные направления. Но на фронте не всегда получается так, как хочешь. Ляшко решил сэкономить во времени, и пошли не дорогой, а лесом — один из самых ненадежных способов, когда торопишься, — в результате к батарее пришли, когда стало совсем уже светло. Мины, отправленные на четырех повозках, давно уже ждали их на месте. Начальник штаба полка, рыжий, потный, вконец задерганный майор Сутырин, неистовствовал.

— Вы бы еще через неделю пришли, мать вашу за ногу! Разбаловались там на своих КП и НП для начальства, а как на передовую — так калачом не заманишь.

Ляшко почесывал двумя пальцами небритый подбородок — этого человека трудно было вывести из себя, — спокойно слушал майора и, когда тот сделал паузу, чтобы набрать воздуху в легкие, спросил:

— Кто мне покажет танкоопасные направления?

Майор опять взвился:

— Ему еще направления показывай! Вот, вот, вот — везде направления! — Он тыкал пальцем во все стороны. — Они с минуты на минуту танки могут бросить! Что мы будем тогда делать? Я вас спрашиваю — что мы будем делать? Ну, чего же вы молчите?

Ляшко прекрасно понимал состояние майора. Сам он воевал с первого дня войны, побывал во всех возможных переделках, видал на своем веку не одного начальника, сейчас даже сочувствовал несчастному начальнику штаба — он его знал еще по Сталинграду — и спокойно, не вступая в ненужные споры, ждал, когда тот наконец изольет свою душу. Но майор за пять минут до этого получил выговор от начальника штаба дивизии за поздно присланное донесение и еще долго поносил бы и Ляшко, и его роту, и его батальон, и вообще всех саперов, если бы, на счастье Ляшко, не подошел к ним инженер полка Богаткин. Немолодой уже, с седеющими висками и перевязанной левой рукой, незаметно подошел и стал рядом, подмигнув Ляшко, — они тоже были старые знакомые. Майор сразу перекинулся на него.

— Вот, инженер, явились твои хваленые саперы! Что хочешь, то и делай с ними. Надоело мне все это. В лесу, видишь ли, прохлаждались, пока мы за пушки эти чертовы здесь воюем.

Инженер устало улыбнулся.

— К телефону тебя зовут. Сорок первый.

— Дежурного там, что ли, нет? Все Сутырин, за всех Сутырин.

— Ну ладно, ладно, иди уж.

Майор выругался и побежал в землянку.

Инженер опять улыбнулся.

— Замотали старика, ей-богу. А так — душа-парень. Ты сколько людей привел?

— Да всю роту. Приказали роту.

— Многовато, конечно, но ничего, скорей справимся. Где люди?

— Вон яблоки уже трясут.

— Запрети. Комендантский уже двух солдат из-за яблок потерял. Жара, воды не хватает, вот и трясут с утра до вечера.

— А это не из-за яблок? — кивнул на перевязанную руку Ляшко.

— Чепуха. Пулей задело. Снайперы у них неопытные, не сталинградские.

Где-то совсем недалеко раздался щелк миномета, и почти сразу же несколько мин разорвалось в саду. С деревьев посыпались яблоки. Бойцы бросились подбирать. Ленька инстинктивно прижался к земле, но, увидев, как солдаты, ни на что не обращая внимания, ползают по саду и собирают яблоки, тоже, чтобы не отстать от них и не показаться трусом, набил себе карманы мелкими, совершенно еще зелеными «кислицами», как их тут называли.

— Отставить яблоки! — крикнул издали Ляшко и направился к бойцам.

Вместе с ним шел инженер и еще какой-то сержант.

— Петренко, бери свой взвод и пойдешь вот с сержантом, — сказал Ляшко и, увидев

Леньку, добавил: — Ну, Богорад, с праздником тебя святого крещения.

— Не подкачаем, товарищ лейтенант! — Ленька почувствовал, как у него начинает пересыхать во рту.

Ляшко вынул из бокового кармана громадные, как у паровозного машиниста, часы.

— К пяти ноль-ноль чтоб было все готово, Петренко. Ясно?

## 6

Надолго запомнилось Леньке это утро — раннее июльское утро с только-только выглянувшим из-за яблоневого сада краешком солнца, с дрожащими на травинках росинками, с пробежавшей у самых его ног полевой мышью, обернувшейся, посмотревшей на него и юркнувшей в только ей одной известную и больше никому на всем земном шаре норку. Запомнил и толстую яблоню, на которой уже кто-то вырезал ножом «Б. Р. С. июль 43», и как сержант скручивал последнюю, обязательную перед каждым заданием цигарку, и как у него слегка тряслись пальцы и он рассыпал махорку и стал подбирать ее с земли. Потом просвистела над головой пуля, и Ленька наклонился, а сидевший рядом с ним боец Антонов засмеялся и сказал: «Рано кланяешься, Ленька». Свистнула не пуля, а птица — есть такая сволочная птичка, которая свистит, как пуля. Потом Петренко сказал «подъем», и все, кряхтя, поднялись и пошли, и Касаткин забыл, конечно, свою лопату и с полдороги должен был за ней возвращаться. Шли сначала по саду, потом спустились в ма-

ленький овражек, или «ложок», как называли его бойцы-сибиряки, и довольно долго двигались по дну ложка. Впереди — Петренко, командир взвода, рослый, плечистый, с широким рябым лицом, за ним — Антонов обычной своей косолапой, медвежьей походкой, придерживая рукой приклад винтовки, чтобы не стучал о лопатку. За Антоновым — Ленька; шел и смотрел на его красный, свежеподстриженный затылок и удивлялся, когда он, холера, успел подстричься, вчера ведь еще лохматый ходил. Потом вышли из ложка и оказались в кустарнике. Прошли немного по кустарнику, дошли до его опушки, и Петренко сказал «ложись». Все легли: направо от Леньки — Антонов, налево — долговязый Сучков, который сразу же вынул из кармана хлеб и стал жевать.

«Хорошо, что Антонов рядом, — подумал Ленька, — он-то уж собаку на минах съел, парень стреляный-перестрелянный». А Антонов глянул уголком глаза на Леньку — тот чистил щепочкой винты на автомате — и в свою очередь подумал: «Пока ничего, не очень дрейфит». Потом Ленька засунул щепочку в пилотку и, подперев голову руками, от нечего делать стал рассматривать впередилежащую лужайку.

— На бинокль, — толкнул его в бок Антонов, — на фрицев посмотри.

Ленька взял, вдавил в окуляры глаза и стал водить слева направо. Лесок, сосенки, лужайка, опять лесок, опять сосенки.

— Ну, нашел?

— Не...

— А ты прямо против себя смотри.

Ленька посмотрел прямо и увидел — прямо перед самым носом! — двух бегущих солдат. Один отстал, сел на корточки, потом встал и побежал следом за первым. Даже винтовки видно, и что без гимнастерок оба, и что рукава засучены. Ленька стал еще водить и нашел еще одного. Он сидел на дереве, вроде как на площадке, и тоже смотрел в бинокль.

— О, смотри, смотри, наблюдатель!

— Чего орешь? Обрадовался... — Антонов отобрал бинокль.

Ленька посмотрел без бинокля и ничего не мог разобрать. Вот чертова штука! Сидит фриц на дереве и тоже, вероятно, видит Леньку. Вот скажет сейчас кому-нибудь, и по ним огонь откроют. Но тут же успокоился: солнце светило из-за спины, и фрицы не могли их рассмотреть...

Подполз Петренко. Показал ему, Антонову и Сучкову, докуда вести первый ряд. Подтащили мины, стали копать ямки. Немцы не стреляли, грунт хороший, дело шло быстро. Ленька копал ямки — раз, два, три, и ямка готова, — Антонов клал мину. Сучков прикрывал ее дерном и присыпал ветками. «Давай, давай, Сучков, не отставай — пять штук только осталось».

И вдруг как началось... как стало рваться со всех сторон! И снаряды, и мины, и черт его знает что еще. Ленька еле успел отскочить в окопчик — хорошо еще, выкопал их здесь кто-то, — уткнулся мордой в землю, зажал коленями уши и так сидел, скрючившись, закрыв глаза, стиснув зубы, и считал только: раз,

два, три, четыре, пять, шесть... Потом и считать перестал.

Очнулся Ленька оттого, что его кто-то сапогом тыкал в спину. Высвободив голову из колен, посмотрел вверх — над ним лицо Антонова, что-то кричит, а что — никак не поймешь. Вылез из окопчика. В двух шагах от него Сучков лежит, ноги раскинул, голову руками обхватил. И чего он так по-глупому лежит? Немного дальше Антонов, уже лежит, и спина у него дрожит. Повернулся на секунду, лицо красное, губы сжаты, рукой только махнул — ложись, мол, — и опять отвернулся. Ленька подбежал к Антонову, лег рядом с ним и только сейчас увидел, что тот стреляет. Впереди по полю прямо на них бежали немцы — человек десять или двадцать, а может, и больше. Ленька прижал автомат к щеке и пустил очередь, потом вторую, третью. Немцы бежали и кричали и, кажется, стреляли, потом стали падать, потом начали рваться мины, и они побежали назад.

— А-а-а-а! — закричал неожиданно для самого себя Ленька и вскочил.

Антонов больно ударил его прикладом «ППШ» по ноге.

— Ложись, дура!

Ленька плюхнулся на живот, а Антонов опять ударил его, на этот раз по голове, чуть выше уха.

— Чего дерешься? — огрызнулся Ленька.

— Молчи, пока живой. Патроны есть еще?

Ленька пощупал рукой висевший на поясе в мешочке запасной диск, снял его и положил рядом. Искоса посмотрел на Антонова, потом

на Сучкова. Тот все так же лежал, раскинув ноги и обхватив голову руками. «Отвоевался», — мелькнуло в мозгу у Леньки, и он отвернулся. Откуда-то справа доносилась еще стрельба, потом и там утихло.

— Сорвалось пока. — Антонов отложил автомат и посмотрел на Леньку. — Ну как?

— Да ничего. — Ленька попытался улыбнуться.

Антонов состроил вдруг гримасу.

— Э, брат, да тебя уже того... Что это у тебя под ухом?

Ленька пощупал — липкое. Посмотрел на руку — красное. Кровь...

Но тут Петренко крикнул: «Кончай ряды, пока тихо», и они с Антоновым стали укладывать оставшиеся мины.

К шести утра рота успела поставить пять минных полей — на одно больше, чем хотел того начштаба Сутырин, из них два — взвод Петренко. Антонов с Ленькой были на первом месте — вдвоем они поставили шестьдесят четыре мины. Ленька чувствовал себя героем. Голова его была перевязана, и на вопросы бойцов он с пренебрежительным видом отвечал: «Да так, ерунда, царапина». Лейтенант Ляшко сказал ему: «Был бы у меня фотоаппарат, сфотографировал бы тебя — вид у тебя больно геройский». А инженер с седыми висками, узнав, что Ленька новичок и уже столько мин поставил, сказал: «Давай догоняй старичков, чтоб не зазнавались». И Ленька сиял и краснел и из скромности говорил, что это все Ан-

тонов — без него он все равно что нуль без палочки, — и жалел, ох как жалел, что не было тут капитана Орлика...

И только смерть Сучкова, молчаливого долговязого Сучкова, не давала ему насладиться триумфом. Они не были друзьями — он и Сучков, — более того, Сучков был единственным, с кем Ленька повздорил в батальоне, и Леньку всегда злило, что Сучков без конца жевал хлеб и на земляных работах каждые пять минут устраивал перекур, но это был первый — первый убитый немцами человек, которого он знал. Недавно еще только разговаривали, и Сучков у него еще газетки для курева попросил, и он ему дал, а тот сказал «хорошая, не рвется», а вот сейчас лежит он, руки вытянул, глаза закрыл, и бойцы ему могилу копают. И когда на него, завернутого в плащ-палатку, упали первые комья земли, Ленька почувствовал, как к горлу его что-то подкатило, и он часто-часто заморгал глазами.

## 7

Задание было выполнено, минные поля поставлены, можно было идти домой. Но майор Сутырин, панически боявшийся танков, — а они все не шли и не шли, а он их все ждал и ждал — упросил Ляшко оставить один взвод до вечера.

— Ты понимаешь, — говорил он уже совсем другим тоном, чем утром, просительным, заискивающим, — дорога у меня тут одна паршивая еще есть. Если пустят танки, то обязательно по ней, вот увидишь. А сейчас

светло, никак к ней не подступиться. Оставь ребят до вечера, они вмиг все сделают. А я им за это, — он щелкал себя пальцем по шее, — на сон грядущий выдам по маленькой.

Ляшко, как и утром, почесывал подбородок и, тяжело вздыхая, дразнил майора.

— Права не имею, товарищ майор. Все прекрасно понимаю, но не имею права. Приказано всем без исключения после выполнения задания в расположение вернуться.

Майор обнимал Ляшко за спину — он был на голову ниже его и до плеч не мог дотянуться — и не отставал.

— Ну, не мсти мне, не мсти мне, Ляшко. Я утром погорячился, сам понимаю, но надо же быть человеком. Я б и своих послал, да их, сам знаешь, как кот наплакал, и в разгоне все, по батальонам. А у тебя ж орлы, одно слово — орлы, повернуться не успеем, как все сделают. А я их и обедом и ужином накормлю, по две порции дам! — И он просительно заглядывал в глаза Ляшко. — Ну как? Договорились? А? Ну не мучь меня.

Кончилось тем, что майор уговорил-таки Ляшко, дав клятвенное обещание — «вот тебе крест святой», и он три раза истово перекрестился, — что к двадцати четырем первый взвод будет на месте.

Второй и третий взводы уже ушли. Первый расположился в немецких артиллерийских землянках и завалился спать. Один только Ленька, возбужденный происшествиями сегодняшнего дня, не мог заснуть. Приставал сначала к Антонову с различными вопросами, потом к Петренко, они что-то бурчали ему в

ответ невразумительное, наконец просто обложили матом, и Ленька стал слоняться по батарее, щупая и ковыряя пушки, пока его и оттуда не погнали. Забрался в сад, наелся кислых яблок до оскомины и бурчания в животе и прибился наконец к полковым разведчикам — удалым хлопцам в пестрых шароварах, расстегнутых гимнастерках и с кинжалами за поясом. Ночью они ходили в разведку, задержали на дороге заблудившийся немецкий грузовик, привели «языка» шофера и притащили два чемодана трофеев. Сейчас, устроившись в одной из землянок, дулись в очко на трофейные часы и прочее барахло. Ленька поставил единственную свою ценность, перочинный ножик с двенадцатью предметами, и через час выиграл двое часов — одни с черным, другие с желтеньким циферблатом, — самописку в зеленых разводах и бритвенный прибор в беленькой пластмассовой коробочке. Потом разведчики угостили его коньяком, и кончилось все тем, что он у них заснул, не заметив даже как.

Проснулся, когда стало уже темнеть. Разведчики ушли на какое-то свое задание, и в землянке был один только старшина, перебиравший взводное имущество. Ленька с перепугу, что все проспал, побежал к своим, а там набросился на него Петренко:

— Где тебя носило? Всю батарею обыскали, весь сад, с ног сбились... И уже наклюкался где-то. А ну, дохни.

Ленька дохнул.

— Так и есть. Без году неделя в батальоне, а уже номера выкидывает. Это что тебе — за-

пасной полк, что ли, или боевая единица? Капитан пришел, где Богорад, спрашивает, а что я ему отвечу?

Ленька стоял, вытянув руки по швам, и молчал. И нужно ж ему было к этим лихим разведчикам попадать — занесла нечистая сила! — как раз когда капитан пришел. Не везет, ну просто не везет!

— А, нашелся, бродяга,— раздалось вдруг у него за спиной. Ленька вздрогнул, узнав голос капитана. — Где пропадал?

— Разведчики здесь рядом. К ним вот заскочил, — самым, каким только умел, невинным тоном ответил Ленька.

— Водку хлестал с ними, а?

Ленька почувствовал, что краснеет.

— Ну, чего стесняешься? Угощали водкой?

— Коньяком... — еле слышно ответил Ленька.

Землянка чуть не развалилась от хохота.

— Это что ж, чтоб голова не болела? — Капитан указал на Ленькин бинт и присел на снарядный ящик. — Напиться есть у кого? Только не коньяку.

Несколько рук протянулось к капитану.

— Яблочки вот хорошие, кисленькие.

Петренко хлопнул по одной из рук так, что яблоки разлетелись в разные стороны.

— Отставить! И выкинуть их все к чертовой матери! И так все желудки порасстраивали. Палкой из кустов не выгонишь. Майборода, принеси-ка воды, там, около пушки, бачок стоит.

Капитан встал.

— Ладно. Шутки в сторону. Сколько у тебя людей, Петренко?

— Со мной десять.

— Оставишь себе шестерых, хватит по уши, а мне дашь Антонова, Тугиева и... — капитан обвел глазами землянку, поочередно останавливаясь на каждом, — ну и... — остановился на Леньке. — Здорово тебе в голову заехало?

— Да какое там здорово... Просто...

— Ясно. Зрение хорошее?

— Ничего.

— И ночью хорошо видишь?

— Вижу...

— Значит, этих троих — Антонова, Тугиева, Богорада — я беру с собой. А остальных веди на задание. Ох, уж этот мне Сутырин — всю жизнь мечтал с ним воевать. Только чтоб к двенадцати все уже на месте были.

— А мы и за час управимся. — Петренко встал. — Дома еще ужинать будем.

— Ну все. Собирай людей. А вы трое — за мной!

Капитан вылез из землянки, осмотрелся и направился к яблоням. Солнце уже село, и в воздухе пахло сыростью. Группа солдат, устроившись под пушкой, вполголоса пела какую-то украинскую песню. На пушке сохли кальсоны и рубашки. Откуда-то очень издалека доносилась гармошка.

— Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут... Садись, ребята. Закуривай. — Капитан сел под яблоню, ту самую, где было выцарапано «Б. Р. С.», и вытащил пачку «Казбека». Антонов даже языком щелкнул.

— Откуда это у вас, товарищ капитан?

— А ты не спрашивай, закуривай. Подарили люди добрые.

Антонов подмигнул Леньке — знаем, мол, что это за люди.

— А штуку эту придется тебе чем-нибудь замотать. — Капитан указал на Ленькин бинт.

— Можно и вообще скинуть.

— Не скинуть, а замотать, я сказал. В темноте, как фонарь, светит. К немцам сейчас пойдем. Прямо в логово ихнее. Ты вот вблизи их никогда не видал. Надо ж посмотреть, правда?

— Надо, — без особой уверенности ответил Ленька.

Капитан улыбнулся.

— Ну, не к самим немцам, но, в общем, поближе к ним. Завтра предполагается операция маленькая, ну и нам с вами надо на двух участках проверить, нету ли полей минных. И провернуться должны как можно быстрее, чтоб вторая рота успела сделать проходы. Бурлин придет сюда к двенадцати — значит, в нашем распоряжении три, максимум четыре часа. Ясно?

— Ясно, — ответил Антонов. — А далеко идти?

— Сейчас узнаешь. Возьмешь Тугиева, я — Богорада. Твой участок — дорога на Голую Долину, мой — левее, где разрыв между рощами. От передовой до немцев — метров триста: значит, до мин — метров двести — двести пятьдесят. За три часа должны успеть. Каждому взять по две гранаты «РГД» и проверить автоматы. Финки тоже с собой взять. На все это даю пятнадцать минут. Сбор здесь, у яблони. Шагом марш!

Все трое пошли в землянку.

— Ты за ним следи, за капитаном, — шепотом сказал Антонов. — Он знаешь какой? Обязательно во что-нибудь впутается.

— Как это впутается? — не понял Ленька.

— А уж придумает как. «Языка» захочет притащить или что-нибудь в этом роде. Так ты не давай. Время, говори, истекает, рота ждет.

— Да он же и сам знает, что ждет.

— Знать-то знает, но и я его знаю. Ты думаешь, из штаба приказали именно ему идти? Сказали — послать офицера, вот и все, а он возьми да и сам. Шило у него в одном месте торчит.

Когда вернулись к яблоне, капитан сидел в той же позе, только с картой на коленях, и что-то мерил на ней циркулем.

— Ну что, все готово?

— Все, товарищ капитан.

— Пошли тогда.

— Это вам. — Антонов протянул две гранаты. — Свеженькие, краской еще пахнут.

Капитан подвесил гранаты на пояс, заправил гимнастерку и протянул руку Тугиеву, затем Антонову.

— Ни пуха ни пера.

— Вам того же, — улыбнулся Антонов. Тугиев, как всегда, молчал. — И помните, что Бурлин в двенадцать придет.

— Помню. А что?

— А ничего. Просто так. — Антонов опять улыбнулся и пожал Леньке руку. — Навалило на тебя сегодня, только держись.

Они расстались и пошли в разные стороны: Антонов с Тугиевым — мимо пушек по дороге, Ленька с капитаном — прямо через кустарник.

8

Почему Орлик выбрал Богорада, а не кого-либо из более опытных ребят, он и сам не знал. Когда шел из расположения батальона на передовую, он твердо решил — Антонова послать с Тугиевым, а Петрова с Вахрушевым. В разведке они бывали не один раз, ребята все опытные, бывалые, сталинградцы. Да и сам-то он вовсе не собирался идти — дивинженер так и сказал (Антонов был прав): «Пошлите кого-нибудь из командиров рот, или нет, даже из командиров взводов, только потолковее». А вот пришел в землянку, глянул на Богорада — стоит смущенный, мнется, и с коньяком этим самым умора, — как-то само собой в голову пришло: а почему не послать его? «Ей-богу, может, и неплохой разведчик получится — парень расторопный, сообразительный, как будто не трус, а с разведчиками сейчас как раз особенно туго стало, из солдат только Вахрушев и Тугиев остались. Надо и им смену готовить. Возьму да пошлю».

И тут же вдруг захотелось и самому пойти. «Прослежу-ка за Богорадом, как он там со всем этим делом справляется. Да и вообще осточертели все эти землянки да блиндажи для начальства, будь они трижды прокляты». Так и решил — с собой Богорада взять, а Антонова с Тугиевым послать.

Сейчас они шли через кустарник — до передовой было около километра, — и где-то, не-

видимые, заливались кузнечики, и над самой головой стремительно проносились ласточки.

— Мессера... — улыбнулся Ленька. — Может, и дождь будет, больно низко летают. — И, пройдя несколько шагов, добавил: — Давно дождя не было. Земля вишь как потрескалась.

Дождей действительно давно уже не было — с той ночи, пожалуй, когда Ленька попал в батальон. Трава совсем выгорела, стала сухой и желтой. Ленька наклонился, взял горсть земли и растер ее между пальцами.

— Вон и червяк похудел. Посмотри, какой стал. — Он протянул руку капитану и пересыпал ему в ладонь сухую, как порошок, землю. — Дать ему, что ли, напиться из фляжки?

Орлик посмотрел на часы.

— Присядем-ка. Подождем, пока совсем стемнеет. — Он почувствовал, что с Леньки соскочила его обычная скованность, и захотелось поговорить с ним.

— Что ж, подождем... — Ленька с готовностью согласился и сел под кустом, поджав ноги по-турецки.

Орлик сел рядом и, стянув сапог, стал перематывать портянку.

— Тихо как, а? — шепотом, очевидно чтобы не нарушить этой самой тишины, сказал Ленька, и тут же, как будто нарочно, совсем рядом щелкнул миномет, и мина, просвистев над их головами, разорвалась где-то позади. Капитан глянул уголком глаза на Леньку.

— Не боишься уже?

— Кого?

— Да мин.

— Мин? — Ленька пожал плечами, потом спросил: — А вы?

Капитан улыбнулся.

— Я с ними давно уже знаком. Вот здесь вот, — он хлопнул себя по ноге, чуть выше колена, — три осколка берегу... А первые недели на фронте кланялся довольно-таки усердно.

— А вы давно воюете?

— С самого начала. С июня сорок первого.

— И теперь совсем уже не боитесь?

— Чего?

— Ну вот идти сейчас на задание хотя бы...

Орлик опять улыбнулся.

— А ты хитер, я вижу, в контратаку перешел. Ну как тебе сказать? — Он стал подыскивать подходящее объяснение, но никак не мог найти. — И да и нет как-то...

— Вот и я так думаю. Шел вот и думал. Человек, ведь он не хочет умирать, правда? А раз не хочет, то это уж и значит, что боится. Правда?

— Ну, допустим, что так...

— А идти надо, вот как нам сейчас с вами. А может, нас убьют или покалечат, а мы все-таки идем. И вообще...

Ленька вдруг умолк, поймал муравья и стал его рассматривать.

— Что вообще?

— Ну так, вообще... Воюешь вот, воюешь, а с кем и не знаешь...

— То есть как это — не знаешь? — Орлик даже удивился. — Два года воюем, а ты и не знаешь?

— Ну, не то что не знаю... Знаю, конечно. Знаю, что есть Гитлер, фашисты, что они хотят

всю Россию завоевать и весь мир... Но раньше, лет сто или двести назад, не так было, правда? Сойдутся два войска и дерутся. Он тебя, а ты его — кто кого. А теперь... — Ленька сдунул муравья с ладони и посмотрел, куда он упал. — Убило вот недавно у нас Сучкова. Когда минное поле ставили. Вы его знаете, высокий такой, с нашего взвода. Прилетела мина и убила. А он живого фрица ближе как за триста метров никогда и не видел. Да и я тоже...

— Ну, это счастье успеешь еще увидеть, — сказал Орлик и с силой всунул ногу в тонкий хромовый сапог, но тут же вытянул ее. — А ну, дай-ка мне свой ножик знаменитый, торчит там пакость какая-то, гвоздь, что ли...

Ленька вынул нож, открыл отвертку и протянул капитану.

— Этим лучше всего.

Капитан стал возиться с гвоздем, и Ленька умолк. А ему хотелось еще о многом поговорить. Ну что это за война? Все с воздуха прилетает. Вот сейчас хотя бы: кругом тишина, красота, ласточки летают, жучки разные ползают, и вдруг, откуда ни возьмись, прилетает кусок железа — и прямо в тебя. И даже неизвестно, кто выстрелил... Или минное поле... Прячешь в землю ящики с толом и старательно-старательно их маскируешь травой, веточками там разными, и все это, чтоб обмануть. А потом сами подрываемся, как в тридцать третьем полку было два дня назад... И вообще, кто это войну выдумал? И когда самая первая, самая-самая первая война произошла? Лет тысячу назад, или две, или больше? И из-

за чего она началась? И еще хотелось Леньке сказать о другом. О том, что идет он вот сейчас вместе с ним, с капитаном, на свое первое задание и, конечно же, ему страшно, но пусть капитан не беспокоится, он выполнит любое его приказание, даже больше, а если они столкнутся вдруг с немцами... Пусть, пусть столкнутся, он даже хочет этого — он не подкачает, он с любым фрицем справится, он видел, когда шел на фронт, в одном селе повешенных немцами партизан, пять человек, и среди них девушка, совсем молоденькая девушка, лет семнадцати — восемнадцати, не больше... И еще о многом хотел сказать и спросить Ленька, именно здесь, в лесу, когда рядом никого нет, только они вдвоем с капитаном, но капитан не слушал его, старательно всовывал ногу в сапог, а потом встал и веселым своим голосом сказал:

— Ну что, философ, пошли, что ли? — И протянул ему нож, знаменитый нож с двенадцатью предметами. — Хорошее оружие. Где достал?

Ленька спрятал нож в карман.

— В Свердловске еще, на толкучке. На сахар выменял.

Несколько минут шли молча — Ленька впереди, капитан сзади. Он нарочно отстал. Ленька шел, тихо раздвигая кусты, придерживая правой рукой автомат, чтобы не стучал о запасной магазин. Вид у него уже был самый что ни на есть заправский — обмотки в самом низу, не доходя до икры, гимнастерка кургузая, ладони на полторы ниже пояса, ремень матросский с якорем на бляхе (у раз-

ведчиков выменял), пилотка крохотная на самом ухе и, несмотря на жару, суконная — тоже особый шик. «Еще бы парочку медалей, — подумал Орлик, — и кто бы сказал, что парень и месяца на фронте не провел».

Ленька повернулся и спросил вдруг:

— Можно вопрос задать, товарищ капитан?

— Чего ж нельзя? Задавай.

— Это правда, что вы водки не пьете?

— Вот те раз! — Капитан даже рассмеялся. — Откуда ты это взял?

— Бойцы говорят.

— Бойцы, бойцы... Что ж, по-твоему, я перед строем этим делом заниматься должен, так, что ли? И вообще, почему это тебя интересует?

— А так...

— То есть как это — так?

— Ну просто... — Ленька несколько замялся. — Я не знаю, правда, может, солдату и нельзя с офицером, но я вот, товарищ капитан, очень хотел бы с вами выпить... честное слово.

Капитан весело рассмеялся и обнял на ходу Леньку за плечи.

— А что, нельзя? — спросил Ленька.

— Почему нельзя? Все можно, гвардии рядовой. Дай только до Берлина дойти.

Где-то впереди и левее заскрежетал «ванюша», и в фиолетово-прозрачном еще на западе небе медленно, одна за другой, обгоняя друг друга, пролетели огненные кометы. Потом загромыхало где-то сзади.

— У-у... сволочи! — выругался Ленька и остановился. Кустарник кончился. — Теперь куда?

— Теперь финку в зубы, на живот — и за мной.

Ленька не мог вспомнить потом, сколько времени они проползли — час, два, а может, и всю ночь. Не мог вспомнить и о чем он думал тогда и было ли ему страшно. Полз, и все — капитан впереди, он сзади. Сердце только сильно стучало, и он все боялся, что капитан услышит и выругает его потом, и поэтому сдерживал зачем-то дыхание — может, меньше стучать будет, но сердце все стучало и стучало и в груди, и в голове, и в руках, и в ногах — везде... Один раз они попали в какое-то болотце, промокли, и капитан еле слышно сказал «левее», и они стали огибать его слева. Потом попали в лесок или рощицу — вероятно, ту самую, которую он рассматривал когда-то в бинокль.

«Ого, как далеко заперли», — мелькнуло у Леньки в голове. Ползти было неудобно: с непривычки болели колени и локти, от финки сводило челюсти, мешали гранаты и запасной магазин. Но он все полз и полз, боясь отстать от капитана, перебирая руками и ногами, глотая слюну и прислушиваясь к окружающей тишине.

Наконец, слава богу, повернули назад.

Никаких мин нигде не обнаружили. И немцев тоже. Черт его знает, куда они делись, — даже ракет никаких.

Попали на знакомое болотце, обогнули его. Впереди, в темноте, наметились смутные очертания двух расщепленных снарядами груш —

до своих, значит, уже недалеко. И вдруг... Капитан остановился. Ленька чуть не ударился носом о его сапоги. Как был с протянутой рукой, так и застыл. Где-то правее, шагах в двадцати, слышны были голоса. Кто-то говорил сдавленным шепотом, кто-то отвечал. Потом умолкли. Ленька впился в темноту так, что в глазах поплыли зеленые круги. Как будто курит кто-то. Мелькнул огонек и погас. Ленька почувствовал, как в нем все сжалось и напряглось. Сердце уже не стучало — оно тоже притаилось. Во рту пересохло. Он вынул изо рта финку, подтянул правую ногу, потом левую, беззвучно подполз к капитану. Тот, не поворачивая головы, нащупал Ленькину руку и крепко сжал ее. Ленька понял... Медленно, затаив дыхание, пополз в сторону огонька.

9

Ленька лежал на траве и смотрел широко раскрытыми глазами в небо — черное, без единой звездочки. Сильно болела шея. Большой палец на левой руке был вывихнут и распух. Гимнастерка и даже майка распороты ножом сверху донизу. Нож прошелся по груди и животу, но как-то странно, оставив только легкую, даже не кровоточащую царапину. Немец оказался очень сильным, и Ленька долго возился с ним, пока тот не притих окончательно.

Капитан ушел куда-то докладывать о результатах разведки. Кругом было тихо — чуть-чуть только шумели сосны над головой и откуда-то издалека доносилось ржание ло-

шади. Лейтенант Ляшко с ребятами давно ушли. Ленька остался один. Полк был чужой: кроме разведчиков, он в нем никого не знал, да и вообще ему сейчас никого не хотелось видеть. Почему-то все время трясло мелкой противной дрожью. И шея болела. Трудно было голову повернуть.

Мимо прошел боец. Ленька окликнул его и попросил спичек. Тот дал. Ленька чиркнул и, заслонив огонек ладонями, еще раз внимательно осмотрел финку. Нет, крови на ней не было. Значит, когда он ударил немца, он попал в ранец или противогаз. И все-таки он ткнул несколько раз финку в землю, потом старательно обтер ее краем гимнастерки.

...Немец почти сразу же выбил у него из рук финку. Потом они долго молча катались по траве. Потом... Ленька опять задрожал. Он встал и, вскинув автомат на плечо, пошел по лесу. Шагов через двадцать столкнулся с капитаном. Было темно, но капитан сразу узнал его.

— Ты куда?

Ленька ничего не ответил.

— А я за тобой. Начальству доложено, Бурлина назад отправил с Антоновым и Тугиевым, а нам с тобой можно и передохнуть. — Капитан слегка толкнул Леньку в спину. — Пошли.

Ленька не спросил куда, решил, что в расположение, но, миновав дальнобойную батарею, капитан повернул не направо, а налево, к артиллерийским землянкам.

— Кто идет? — раздался в темноте хриплый голос.

— Ладно, ладно, свои. — Капитан даже не убавил шагу. — Темнота эта чертова... Какая тут инженерова землянка? Эта, что ли?

После лесной непроглядной тьмы в землянке казалось ослепительно светло. В глубине, за самодельным столиком, в расстегнутой гимнастерке сидел капитан Богаткин, листал журнал. В углу храпел связист.

— Вот он, наш герой, — весело сказал Орлик, входя. — Леонид Семенович Богорад. Прошу любить и жаловать.

— А мы уже знакомы. — Инженер устало улыбнулся и встал. — А вид действительно геройский.

Ленька только сейчас вспомнил, что гимнастерка на нем разорвана, и торопливо стал засовывать ее в штаны.

— Постой, постой, герой! — Инженер подошел к нему и провел пальцем по твердому, покрытому пушком Ленькиному животу. — Это что, раны боевые? Давай-ка мы их зеленкой. У нас тут все есть.

Он по всем правилам намотал на спичку вату, окунул ее в пузырек и нарисовал на Ленькином животе яркую зеленую полосу от ключицы до пупка.

— Повезло тебе, брат. Все внутренности сохранил. Пригодятся еще. А теперь застегивайся и садись.

Ленька запахнул гимнастерку, как халат, и вправил ее в штаны. Гранаты и запасной магазин снял с пояса и положил рядом с автоматом в углу.

— Ну чего ты там возишься? — окликнул

его Орлик. — Иди-ка сюда. Покажу тебе нового твоего знакомого.

Ленька, продолжая вправлять гимнастерку, подошел к столу.

— Узнаешь? — Орлик протянул фотографию.

На маленькой карточке с неровными, точно оборванными, краями улыбался курносый, с вихорком на лбу, светлоглазый парень в расстегнутой белой рубашке. Орлик бросил на стол еще две карточки. На одной тот же парень, в одних трусах, на пляже, сидит, обхватив руками колени, рядом — девушка в купальном костюме и резиновой шапочке. На второй — старик в высоком воротничке, старушка и тот же парень и та же девушка: он в пиджаке и галстуке, тщательно причесанный, без вихорка, она в светлом платьице, с цветком в волосах.

Ленька поднял глаза на капитана. Тот весело смотрел на него и, собрав карточки, держал их сейчас веером в вытянутой руке.

— Иоганн-Амедей Гетцке. Обер-ефрейтор. Родился в городе Мангейме в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Убит на русском фронте в тысяча девятьсот сорок третьем году, в районе Голой Долины, в ночь на... Какое сегодня число, Богаткин?

— Двадцать пятое, — сказал инженер.

— В ночь на двадцать пятое июля убит советским солдатом Леонидом Богорадом... Узнаешь теперь, солдат?

Ленька, не отрываясь, смотрел на карточку, на улыбающееся, веселое, курносое лицо. Там, в поле, у разбитых снарядами груш, он

не видел этого лица. Но эту шею, крепкую круглую шею... Он отвернулся, он не мог на нее смотреть.

Орлик был весел и говорлив. После всего происшедшего он испытывал нервное возбуждение, и сейчас ему хотелось говорить, действовать, быть активным.

— А ну, хозяин, не жмись, не жмись. Вываливай на стол все свои богатства.

Он быстро и ловко очистил стол от бумаг и папок, покрыл его газетой.

— Тебе б такого ординарца, Богаткин, а? Возьми к себе, не пожалеешь.

Богаткин известен был на всю дивизию тем, что, как он сам говорил, не признавал «института денщиков», — сам подшивал себе подворотнички, стирал носки, носовые платки. Сейчас он деловито, по-хозяйски, вытер полотенцем граненый стакан, крышку от фляжки и стаканчик для бритья, потом достал из-под стола две бутылки коньяку и, тоже обтерев их полотенцем, поставил на стол. Орлик со знанием дела стал разглядывать этикетки.

— Неважные у тебя, брат, саперы. Могли бы и французский достать. — Двумя ловкими ударами он выбил пробки и понюхал горлышко. — Нет, ничего, жить можно. А закуска?

Богаткин положил на стол плитку шоколаду в коричневой с золотом обертке и плоскую баночку сардин. Орлик прищелкнул языком.

— Живем, Богорад. Тут у нас целый интернационал — коньяк венгерский, шоколад швей-

царский, сардины португальские. Ел когда-нибудь сардины, сознайся? Пальчики оближешь. Да оторвись ты от этих карточек. На Гретхен златокудрую загляделся.

Ленька молча протянул фотографию.

— А бабка ничего, а? — Орлик, прищурив один глаз, посмотрел на фотографию. — У покойничка, видать, губа не дура была...

Ленька исподлобья глянул на капитана и опустил глаза.

— Не надо так, товарищ капитан...

Но капитан не расслышал или сделал вид, что не слышит, подошел к столу, взял стаканы и протянул один Леньке.

— За твое огневое крещение, Леонид Семенович! За вторую твою боевую ночь.

Ленька молча стоял, опустив голову.

— В первую ты познакомился с минами. И с нами. А во вторую — с этим самым, с Гетцке... Ну, чего приуныл? — Капитан взял его за подбородок. — Пей, развеселишься.

Ленька отрицательно мотнул головой.

— Ты что, болен? Богаткин, дай-ка градусник. Ей-богу, он заболел.

— Разрешите идти, товарищ капитан, — очень тихо сказал Ленька.

— Куда? — Орлик стоял перед Ленькой, держа в одной руке бритвенный, в другой граненый стакан, оба полные до краев. — Куда идти?

— Никуда... Подожду вас снаружи.

— Но ты ж сам еще вечером, когда мы шли на задание...

Ленька поднял голову и посмотрел капитану в глаза.

— Разрешите идти, товарищ капитан, — так же тихо, настойчиво повторил он.

Капитан круто повернулся, подошел к столу, поставил стаканы, постоял так несколько секунд, потом, не поворачиваясь, сказал «иди» и, когда Ленька вышел, залпом, не чокнувшись, выпил полный стакан.

Орлик долго стоял над спящим Ленькой. Свернувшись калачиком, он лежал под кустом, сжав коленями автомат и совсем по-детски подложив под щеку сложенные ладони. Во сне он шевелил губами, вздрагивал. И вокруг на траве, в кустах лежали такие же ребята, укрытые шинелями, телогрейками, по двое, по трое, прижавшись друг к другу, и всем им что-то снилось, и все они что-то бормотали, вздыхали во сне.

Был четвертый час, начинало уже светать, но птицы еще не пели, самолеты еще не появились. И хотя именно сейчас надо было идти к себе в батальон, Орлику жалко было будить этого спящего мальчика, так крепко сжавшего коленями автомат. А может, не только жаль, может быть, он просто оттягивал ту минуту, когда этот мальчик проснется, откроет глаза и посмотрит на него.

«Цвирик... цвирик... цвирик...» Проснулась первая птичка. «Цвирик... цвирик...»

Ленька поежился, почмокал, повернулся на спину, почесал голый живот, потом потер нос, зевнул и открыл глаза. И в глазах этих было сейчас только детство, только небо, только невероятное желание спать.

«Цвирик... цвирик... цвирик...»





## АВГУСТ-ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ

Король — это звучит гордо

Шекспир «Король Лир»

Случай, или, точнее, знакомство это, произошло в Дрездене в мае сорок пятого года, через несколько дней после капитуляции Германии. Вернее, даже не в Дрездене — он весь был разрушен американской авиацией, — а в шести ки-

лометрах от него, в очень живописном городишке Пильнице, на берегу Эльбы, где расположился наш батальон.

Жили мы тогда в замке, принадлежавшем когда-то саксонским королям, — в их летней резиденции. Кругом был парк, какой и должен быть вокруг замка, с древними липами, тенистыми аллеями и задумчивым прудом, по которому, вероятно, когда-то плавали лебеди. Общее впечатление портил только дворец — нелепейшее сооружение с колоннами, носившее претенциозное название «Хинезишес Палэ» — «Китайский дворец», хотя китайского в нем, кроме каких-то нарисованных якобы в китайской манере фигурок на карнизе, не было ничего.

В замке жили престарелые художники, целыми днями где-то пропадавшие и приходившие поздно вечером с наполненными до отказа рюкзаками. Жили они в правом флигеле дворца, я со своим батальоном — в левом.

Война кончилась, но работы было много. Ежедневно приходилось ездить в Дрезден и заниматься там разминированием и приведением города в порядок. Ночевать возвращались в Пильниц.

И вот как-то вечером возвращаюсь я из города усталый и голодный — по дороге еще произошла авария с машиной, задержавшая нас на добрых полтора часа, — и встречает меня во дворе сержант Черныш — дежурный по батальону, хитроглазый украинец.

— Вас там, товарищ капитан, якийсь старичок, нимець, дожидается.

— А что ему нужно? — спрашиваю.

— Не знаю, не каже.

— «Лебенсмитель», должно быть. Направил бы прямо к старшине.

«Лебенсмитель» — продукты питания — облеченная в приличную форму просьба поесть, первая фраза, которой научились наши бойцы от немцев.

— Ни, вас, каже, треба.

— А где он?

— Да там, в зале, сидить.

Старичок оказался маленьким, сухоньким, на вид лет шестидесяти с небольшим, но еще подвижной и довольно сохранившийся, с обвислыми, как у породистой собаки, щеками, довольно бодро торчащими подкрашенными усами и невероятно аккуратно причесанными, реденькими волосиками на голове. Одет он был, несмотря на жару, в пальто со слегка потертым бархатным воротником, из-за которого выглядывал другой, уже стоячий, крахмальный, очень узенькие брюки в полоску, лайковые перчатки кремового цвета, а за спиной, как у всякого добропорядочного немца, болтался, точно горб у голодного верблюда, полупустой рюкзак.

При виде меня лицо старичка приняло смешанное выражение удивления, восторга и гордого достоинства — весьма сложное и неожиданное сочетание чувств.

— О-о-о! — сказал он и, слегка наклонив голову вбок и вперед, сделал несколько мелких шажков по направлению ко мне.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал я.

— О-о-о! — повторил старичок, как будто это предложение его крайне обрадовало, и,

ловким, привычным движением скинув рюкзак, уселся в кресло. Я тоже сел.

— Чем могу быть полезен?

Старичок скрестил ноги, соединил кончики пальцев и, опять-таки наклонив вперед и вбок голову, приятно улыбнулся.

— Я чрезвычайно рад, герр оберст,— (я был только капитаном, но старичок возвел меня почему-то в полковники), — чрезвычайно рад, герр оберст, что имею дело с таким высококультурным и образованным человеком,— (опять-таки я не совсем понял, какие у старичка были основания сделать этот вывод, но возражать не стал, бог с ним). — Мне также весьма приятно приветствовать в вашем лице человека, который, став, так сказать, хозяином этого прекрасного дворца, сумел, невзирая на трудности и сложности военного времени...

— Если можно, покороче. У меня мало времени, к тому же я очень устал.

— О, да, да. Я понимаю. — Он быстро и сочувственно закивал головой. — У вас много работы. Американцы разрушили город. И мне говорили, что вы приводите его в порядок. Это очень порядочно с вашей стороны. После того что...

Я взглянул на часы. Было около восьми, а встали мы в четыре.

— Ближе к делу? Я понимаю. Русские деловые люди. Они не любят терять время даром. — Он сделал паузу и, наклонившись слегка вперед, заговорил вдруг конфиденциальным тоном: — Поэтому я и пришел к вам, как к деловому человеку. Деловой человек

к деловому человеку. Война войной, а дело делом. Неправда ли?

Он галантно улыбнулся и вопросительно посмотрел на меня. У него было невероятно подвижное лицо, как у актера или приказчика галантерейного магазина. Чувства и переживания, которые он в данный момент испытывал, сменяли одно другое с непостижимой быстротой. Иногда отыгравшее уже чувство не успевало еще уйти с его лица, как появлялось новое, и тогда они наслаивались одно на другое. Черныш, как-то потом уже, сказал, что старичок очень забавно «мордой хлопочет», и нам всем очень понравилось это выражение. Он, действительно, то закатывал глаза и быстро-быстро начинал моргать, то вдруг таращил их, то насупливал брови, то подымал их так, что лоб уходил куда-то на затылок, щеки его тряслись, фиолетовые усы топорщились, рот то складывался в трубочку, то растягивался в приятную улыбку, обнажая вставные зубы, которые, когда он особенно усердствовал, казалось, вот-вот вывалятся изо рта наружу.

Я сидел, смотрел на этого «хлопочущего мордой» старичка и невольно ловил себя на том, что куда внимательнее слежу за его мимикой, чем за ходом его мысли.

А он тем временем продолжал:

— Я пришел поговорить с вами, герр оберст, по очень важному и существенному для меня делу. Я пришел поговорить об этом дворце, об этой усадьбе, так сказать. — Он опять сделал паузу, довольно продолжительную паузу. — Видите ли, герр оберст, этот дворец и эта усадьба принадлежат мне. — При этих словах

он встал и не без изящества отвесил легкий поклон.

— Вы хотите сказать, принадлежали?

В глазах старичка мелькнула и сразу же исчезла настороженность, уступив место обезоруживающей, невинной улыбке.

— Как вам сказать... Принадлежали, принадлежат... Это, в конце концов...

Он не закончил фразы, пожал плечами и, усевшись опять в кресло, выжидательно стал смотреть на меня, скрестив по-прежнему ноги и соединив кончики пальцев.

Я ему сказал, что, насколько мне известно, этот дворец принадлежал когда-то саксонским королям, где они сейчас — неизвестно, да, в конце концов, и не очень интересно, что в доме живут теперь престарелые художники, что выселять их никто не собирается и что вообще все будет в порядке. К концу разговора я осведомился, с кем имею честь беседовать.

Старичок встал. Мне даже показалось, что он стал немного выше.

— Меня зовут Август-Фридрих-Вильгельм Четвертый. До ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года я был королем Саксонии.

Он опять поклонился, и в поклоне этом, кроме изящества, была уже и какая-то торжественность.

Не буду врать — я опешил. Я ожидал чего угодно, только не этого. Я никогда в жизни не встречал королей. Разве что Людовика XIII и Ричарда Львиное Сердце в романах Дюма и Вальтер Скотта. Да иногда в старой «Ниве» мелькнет фотография «Престарелый шведский король Гаокон такой-то на отдыхе в Ницце»

или Альберт бельгийский, в каске и обмотках, награждающий каких-то солдат. Вот и все. Одним словом, представление об этой категории лиц имел довольно туманное. То же, что сейчас сидело передо мной — суетливое, с фиолетовыми усами и бесконечными «герр оберст», — рушило все мои представления о тех, кто в книгах назывался августейшими монархами.

Я предложил папиросу. Август-Фридрих-Вильгельм IV с охотой взял. Похвалил табак. Я предложил ему пачку. Он сказал: «О-о-о», — и спрятал ее в рюкзак.

Заговорили о жизни — так надо было, очевидно, из вежливости, прежде чем опять приступить к делам. Старик жаловался на американские бомбежки, на Гитлера (это специально для меня), на тяжелую жизнь. Когда восемнадцатый год, «ох, этот тяжелый, незабываемый восемнадцатый год!», лишил его короны, он решил посвятить себя искусству.

— О! Искусство! Самое святое, что осталось еще в жизни. Оно над всем. Оно не знает войн и революций. Оно парит над нами как... как... — глаза его слегка увлажнились, и он не закончил фразы.

— Вы пишете? — спросил я его.

— Нет, к сожалению, я не пишу. Бог не наделил меня этим... Но я помогаю художникам. Я помогаю бедным старым художникам. — В этом месте его голос слегка дрогнул. — Я даю им кров, которого они лишены.

— Вы им сдаете комнаты? — уточнил я.

— Да. Я им даю кров, которого они лишены. И они очень мне благодарны.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что у старичка таких дворцов, как в Пильнице, еще три и что все четыре он сдает, вернее, сдавал, и вот теперь его очень интересует — «ведь мы с вами, герр оберст, люди деловые», — у кого он должен получить разрешение, «или как это у нас называется», одним словом, где он может оформить свои права на владение этими четырьмя дворцами.

В самых вежливых выражениях я ему дал понять, что этот вопрос пока еще не решен и что, когда он будет решен, его, Августа-Фридриха-Вильгельма, об этом поставят в известность, а пока, если он не возражает, я могу его снабдить кое-какими «лебенсмителями».

О бедный, бедный король. С каким видом он укладывал в свой рюкзак консервы и хлеб, выданные ему моим старшиной Федотиком. Он все время повторял свое «о!», причем каждый раз на более высокой ноте, и на лице его можно было прочесть весьма длинную фразу, обозначавшую приблизительно следующее: «О, как это все тяжело! Но что поделаешь — жизнь, увы, устроена так, что иногда и венценосцам приходится прибегать к услугам добрых людей. Это горько, очень горько, но отнюдь не постыдно, и вы понимаете меня, герр оберст».

Когда мы шли по двору, он указал на дворец и сказал:

— Не правда ли, прекрасное сооружение? Оно обошлось моему отцу в... — и он назвал какую-то значительную сумму, бесспорно доказывавшую художественные качества дворца.

Он стал довольно часто заходить ко мне. Он приезжал на стареньком велосипеде,

оставляя его около ворот, и, любезно приподнимая котелок, шел через весь двор к моему флигелю. Черныш сияя докладывал: «До вас опять цей самий, король ихний...», — а из-за его спины уже выглядывал, тоже сияющий, Август-Фридрих-Вильгельм со своим неизменным рюкзаком, с которым никогда не расставался.

— Морген, герр оберст. Сегодня чудная погода.

Он садился в кресло, закуривал папиросу и каждый раз восторгался русским табаком:

— Прима, прима!

Насчет дворца и усадьбы он больше не говорил. Его интересовало уже другое.

— Вот вы скажите мне, пожалуйста, герр оберст, как, на ваш взгляд, могли бы отнестись ваши власти к тому, что б я открыл, например, небольшое дело. Ну, совсем пустяк, какой-нибудь... Дрезденские дамы, например, очень страдают сейчас от отсутствия шляпок. Дама всегда остается дамой. Что поделаешь? Война войной, а дама дамой, — он игриво улыбался и слегка хлопал меня по колену. — Вот и хочется как-то помочь им...

— Так же, как вы, в свое время, помогали художникам?

Он делал вид, что не понимает моей шутки, а может, и действительно не понимал.

— Вот именно, вот именно. Я, моя супруга, дочь и ее муж, очень приличный, воспитанный господин, не нацист и никогда им не был. Вот и все. Никакой наемной силы, никакой эксплуатации, так что, с вашей точки зрения, — он

опять очень мило улыбался, — никаких, так сказать, нарушений...

Я ничего не мог ему посоветовать, так как был несведущ в этих вопросах, и каждый раз он очень огорчался.

Как-то раз он явился со своей супругой, такой же как он, сухонькой, тоже в каком-то крахмальном воротничке, в кружевных перчатках и с громадным старомодным зонтиком с крючком. Звали ее как-то очень длинно, но я запомнил только одно имя — Амалия. Она больше вздыхала и ахала, осматривала комнаты и даже где-то пощупала обвалившуюся штукатурку. К концу разговора она спросила, не знаю ли я, будут ли с них брать налоги за их предполагаемое маленькое дельце, и если да, то какие. Я сказал, что не знаю. Она была явно разочарована.

А как-то он притащил в своем рюкзаке два громадных семейных альбома. Это были пудовые фолианты, тисненные кожей, с гербами на переплетах и массивными застежками. Внутри было сборище королей, принцев и курфюрстов со всеми их семействами. Сам Август-Фридрих-Вильгельм изображен был более чем в двадцати видах: пухлым младенцем с задранными кверху ножками, томным отроком в бархатных штанишках и с кружевным воротничком, усатым буршем в корпоративной шапочке, еще более усатым офицером какого-то кавалерийского полка и, наконец, в королевском облачении — в мантии, короне, весь усыпанный орденами. Усы у него тогда торчали, почти как у Вильгельма, и в глазах было даже что-то такое монаршее.

Уходя он подарил мне большую фотографию, где он и его Амалия были изображены — он в безукоризненном фраке, она в подвенечном платье. Оба были молоды, красивы, и в руках у них были большие букеты роз.

— Это когда я еще был кронпринцем, — пояснил Август-Фридрих-Вильгельм. — Мне было тогда двадцать четыре, а Амалии двадцать один. Не правда ли, она здесь очень мила? Совсем грёзовская головка. Кайзер Вильгельм II, когда увидел ее — мы уже тогда соединились, так сказать, узами Гимения, — погрозил мне пальцем и сказал: «У тебя есть вкус Август». А он был большой знаток женщин. Кстати, она из очень хорошей фамилии. Отец ее, младший сын великого курфюрста... — И он начал рассказывать одну из своих обычных бесконечных историй, которыми буквально вгонял меня в гроб. Он знал все, что происходило при дворах германских княжеств и герцогств с начала XX века. Он знал родословные всех монархов и их приближенных, знал все тайны и интриги дворов, с точностью очевидца мог рассказать все связанные с ними альковные секреты, помнил все парады и торжественные обеды, гербы и туалеты, манеры и моды, — одним словом, это был король-энциклопедия.

Сначала меня это забавляло, потом стало несколько утомлять, а когда визиты участились чуть ли не до ежедневных, я велел Чернышу направлять старика прямо к Федотику за продуктами.

За день или два до того, как наш батальон должен был совсем покинуть Дрезден, я со-

вершенно случайно опять столкнулся с «поверженной династией».

Я шел по одной из разрушенных улиц города, когда за моей спиной раздался знакомый голос:

— Герр оберст, герр оберст!

Я обернулся. Август-Фридрих-Вильгельм приветливо махал мне рукой и подзывал к себе. Он выглядывал из какой-то щели полуразрушенного дома, а над головой его красовалась вывеска: «Шляпное дело м-ме Амалии». Вывеска была красивая — слева нарисована дамская шляпка и ленты, а над именем мадам Амалии лев и единорог, с закрученными хвостами и высунутыми языками, поддерживали корону.

— Прошу, прошу, герр оберст, заходите.

Я зашел.

Внутри было очень чистенько и уютно. На стенках висели картинки, в крохотном, выходившем на улицу оконце стоял пышногрудый бюст улыбающейся дамы в кокетливой шляпке, а сама фрау Амалия, помолодевшая и посвежевшая, по-моему даже подкрашенная, в светлом передничке и светлой наколочке, любезно улыбалась из-за прилавка. Рядом стояла поблекшая, с поджатыми губами, обиженного вида особа, очевидно дочь, и время от времени появлялся какой-то молчаливый субъект с висячими губами, по-видимому тот самый, очень приличный, воспитанный господин, не нацист, муж дочери. Заказчиков и покупателей я что-то не заметил.

— Как идут дела? — спросил я.

— Средне, герр оберст, весьма средне, —

Август-Фридрих-Вильгельм покачал головой. — Сами понимаете, покупательная способность у населения невелика. И с материалом к тому же трудно. Хочется, чтобы все было все-таки первосортным, а время такое, что первосортное, сами понимаете, не всегда удается достать. Трудно, в общем, трудно, — он вздохнул. — Думаем вот параллельно начать открытки продавать. Старый, так сказать, Дрезден и новый. До и после. Вы меня понимаете? Любопытно? А? Как на ваш взгляд — спрос будет?

Он отошел к своей Амалии и о чем-то с ней зашептался. Потом неожиданно вдруг спросил меня:

— Ваша жена, герр оберст, блондинка или брюнетка?

— Шатенка, а что?

Они опять пошептались. Потом поблекшая дочка куда-то вышла и вернулась с большой круглой коробкой.

— Так вы говорите — шатенка? — опять спросил меня старик.

— Шатенка.

— Тогда вот, прошу. От меня и, — он сделал жест в сторону своей супруги, — фрау Амалии. Это носит сейчас вся Европа.

Он протянул мне коробку. В ней оказалась очень большая и очень уродливая шляпа розового цвета, с голубыми бантами и какими-то букетиками, приколотыми к разным местам. Я был очень тронут и поблагодарил.

Я пробыл еще минут десять в их магазинчике. Старик успел рассказать мне очередную историю о какой-то принцессе, пожало-

ваться на свой ревматизм, осведомиться, не знаю ли я, где можно достать пирамидон — у фрау Амалии по ночам страшные головные боли, — потом я попрощался и направился к выходу.

— Айн момент, герр оберст, — фрау Амалия любезно кивала мне из окошка кассы. — С вас пятьсот марок, герр оберст.

— С меня?..

— За шляпку. Вы нигде в городе так дешево не найдете.

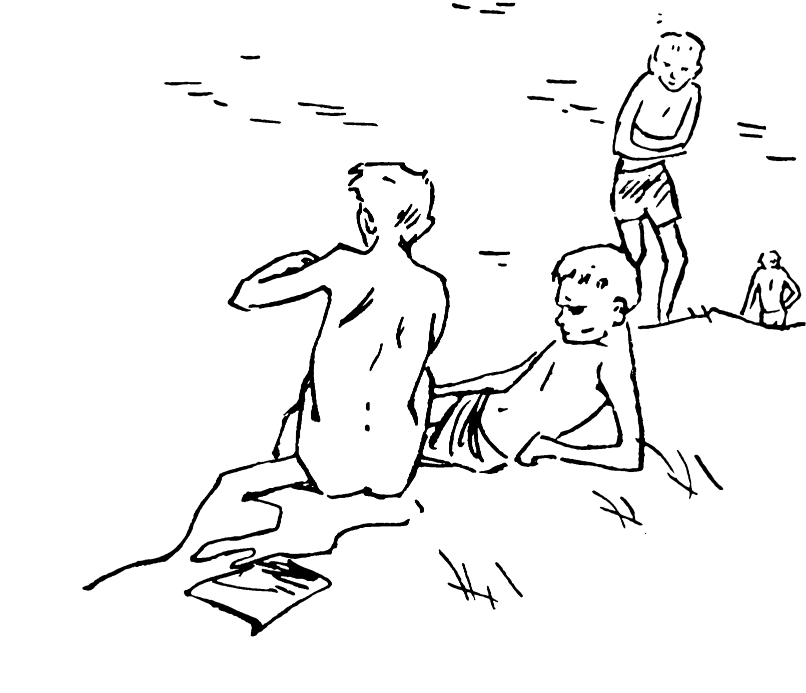
Я вынул пятьсот марок — хорошо, что со мной были деньги, — и заплатил.

— Ауф видер зеен, герр оберст, — сказала фрау Амалия, протягивая мне чек.

— Ауф видер зеен, — как эхо повторили дочка и зять.

— Ауф видер зеен, — сказал Август-Фридрих-Вильгельм, открывая передо мной дверь, — заходите, не забывайте. На днях уже открытки будут. Старый Дрезден и новый. Разрешите вам оставить серию?

Шляпку я подарил нашей поварихе — она осталась очень довольна, свадебную же карточку — ее сынишке. Он пририсовал обоим — и Августу-Фридриху-Вильгельму, и Амалии — роскошные усы и бороды, щеки раскрасил красным карандашом и утверждает, что оба они от этого стали значительно красивее.



## ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Я думаю, что не обижу сталинградцев, если скажу, что чувства их, людей, живущих в одном из самых, может быть, интересных городов земного шара, немного притупились. Сталинградцы любят свой город и гордятся им, как

мало кто может и имеет право гордиться, и все же они привыкли к нему, привыкли к тому, что в нем происходит, и многое из того, что кажется им обыкновенным, чего они уже не замечают, замечаем мы, люди приезжие, замечаем и восхищаемся.

Если к тому же приезжий этот бывал здесь во время войны и видал то, что осталось от города в феврале сорок третьего года, то восприятие его — тут нет ничего удивительного — будет особенно остро, а чувствительность несколько повышена. И, конечно же, он будет вспоминать. Пусть не осудит читатель его за это. Вспоминать всегда интереснее, чем слушать воспоминания, и удержаться от этого очень трудно.

Всякий поймет волнение, с которым подходит человек к месту, где он когда-то воевал. В ТЭЦ тракторного завода я, правда, не воевал, но я должен был ее взорвать. На мне лежала тяжелая и страшная обязанность включить рубильник в случае, если поступит такой приказ. Приказ этот так и не поступил, но весь сентябрь 1942 года мы жили в ожидании его. Мы — это пять человек, живших в небольшом блиндаже метрах в ста от станции. Лежа по вечерам на нарах, мы смотрели на этот ненавистный рубильник с черной ручкой, и все пятеро думали об одном. Это были невеселые мысли...

Среди нас пятерых был один электрик. Я не буду о нем подробно рассказывать. В повести «В окопах Сталинграда» он называется Геор-

гий Акимович. Маленький, подвижной, он всем был недоволен, все и всех ругал, но работал как черт и в ТЭЦ свою был влюблен, как в девушку.

Когда нас, саперов, отозвали и мы шли по зыбкому пешеходному мостику через Волгу, он стоял на высоком правом берегу и махал своей кепкой с пуговкой. Долго еще видна была его маленькая фигурка на фоне горящего от бомбежек завода. Вот еще один человек прошел через твою жизнь и исчез, и, вероятно, никогда ты больше его не увидишь и не услышишь о нем. Война...

Сейчас кончится центральная заводская аллея, и налево будет ТЭЦ. Еще двадцать, десять шагов. Аллея кончилась. Налево ТЭЦ. Но она ли это? Я ее не узнаю. Она в два раза больше. Она расширилась. На ней никогда не было столько труб. Новые пристройки, надстройки...

Через несколько минут мы представимся начальнику, и я спрошу его, не работает ли у них маленький голубоглазый вспыльчивый инженер. Фамилию я его, к сожалению, забыл и имя тоже — ведь столько событий произошло после этого. Кажется, Вячеслав, если не ошибаюсь. Нас останавливает вахтер:

— Вам к кому?

— К начальнику.

— К Данилову?

Я вздрагиваю.

— Д-да... К Данилову.

Нас проводят в его кабинет. За большим столом у окна сидит и жует завтрак малень-

кий голубоглазый человек в черной спецовочке с выглядывающими из кармана карандашами и линейками. Господи! Да ведь он и тогда в такой же ходил! И такие же карандашики, такие же линеечки.

Мы ходим с ним, с Даниловым Вячеславом Михайловичем, по тем самым местам, по которым ходили десять лет назад, раскладывая здоровенные мешки с амонитом, где он часами бегал со своим неразлучным омметром и проверял целость проводов между подрывной станцией и взрывчаткой — осколки немецких мин поминутно их рвали. Заходим в машинный зал, спускаемся вниз, под генераторы. Тут еще сохранились на стенке наши надписи, и мы радуемся им, как маленькие дети.

И когда вечером, усталые от встречи и воспоминаний, мы сидим на веранде небольшого даниловского домика, я смотрю на своего гостеприимного хозяина и думаю — да ведь ты такой же, как и был, — Вячеслав Михайлович, Слава, Георгий Акимович — такой же подвижной, энергичный, непоседа, и та же или похожая на нее курточка с карандашами в кармане... Тот и не тот. Так же, как и ТЭЦ, — та и не та. Она хорошо видна отсюда, с горы, — большая, многотрубная. Вот она задымила — слишком густо, слишком черно.

— Какого дьявола задымили! — кричит Данилов в телефон. — Прекратите!

И мне становится еще приятнее. Ведь я сижу в гостях и запросто разговариваю с человеком, который может вот так снять трубку и приказать, чтобы дым был не такой черный, и

через несколько минут из труб ТЭЦ пойдет более спокойный и светлый дым, из труб той самой ТЭЦ, к жизни и смерти которой мы когда-то имели какое-то отношение.

Завод метиз, как он назывался в нашем полку, или метизный, как называли его сталинградцы, или завод тракторных деталей, как он называется сейчас, раскинулся у самого подножия Мамаева кургана. Завод, или, вернее, передовую, которая десять лет назад проходила по его территории, так как сам завод давно уже не существовал, изредка бомбили «юнкерсы», еще чаще артиллерия и почти без всякого перерыва минометы.

Днем связи с передовой не было — все подходы простреливались. Жизнь начиналась ночью.

Длинный, ох, какой длинный путь от берега до бульварчика, тянувшегося вдоль завода; недалеко от входа — подбитый трамвайчик, у колес которого мы всегда перекуривали, сам вход, разрушенный минами, срезанные снарядами мертвые тополя, а дальше цехи — разбитые, разваленные, сожженные. И над всем этим черное октябрьское небо, беззвучные вспышки ракет, щелчки немецких минометов и противные сухие разрывы.

Я попал на этот завод только через десять лет, в июне.

Впервые я вижу его днем. Я не буду говорить, узнал я его или не узнал — любой ответ прозвучит банально. Не буду говорить и о том, как искал и не нашел старые окопы, как пытался восстановить, где же проходила передо-

вая, не буду говорить и о самом заводе — это особая тема, — я скажу только несколько слов о тополях.

Те самые, срезанные снарядами тополя у входа, мимо которых мы торопливо пробегали темными октябрьскими ночами сорок второго года, те самые, мертвые, как нам тогда казалось, они выросли и стали большими, красивыми, настоящими тополями. И вырастил, спас их Рогов — старший садовник завода. Совсем обыкновенный на вид, невысокий, чуть сутулый, с черными от земли руками, это он превратил свой завод в сад — я не преувеличиваю, это действительно так, — это он вырастил в бедном зеленью Сталинграде, на сухой его почве эти деревья с такими пышными кронами, это он украсил заводские скверики маленькими вишневыми деревцами, которые тоже станут большими. Все это — дело его рук.

Он подводит нас к тополям, стройной шеренгой выстроившимся вдоль входа, наклоняется и, держа ладонь сантиметрах в двадцати от земли, говорит:

— Вот какими я их застал. Честное слово. А сейчас какие! В деревцах метра по три, а то и четыре. Надо было только первой веточки дождаться, вот отсюда, почти из корня. А уж если появится, тогда как-нибудь вытянем.

И вытянул.

Сейчас высокие, стройные, чуть шелестящие на ветру тополя и цехи восстановленного завода, на стены которых молодые деревца бросают свою полупрозрачную тень, — может быть, все это и есть лучший памятник тем, кто

лежит сейчас в земле Сталинграда, кто отдал свои жизни в разрушенных цехах метиза.

Жарко. Мы лежим на берегу и смотрим на воду. Ее очень много, она чуть рябится, и, если посмотреть на нее возле самого берега, видно, что она желтовата. Узкой полоской тянется противоположный берег. На нем какие-то домики. Правее белеют две башенки — шлюзы Карповского водохранилища.

Солнце подымается выше, становится еще жарче. Мы бросаемся в воду и долго плаваем. Потом, запыхавшиеся, вылезаем на берег и, растянувшись на траве, загораем. Шагах в десяти от нас, неистово галдя и брызгаясь, купаются ребятишки.

Я гляжу на них — веселых, загорелых, блестящих от воды, — и мне до смерти хочется рассказать своим спутникам, как отступали мы в сорок втором году по этим самым местам, как было жарко, куда жарче, чем сейчас, как хотелось пить, и негде было напиться, как осточертели нам эти сухие степи, это выжженное, бесцветное небо, без умолку звенящие кузнечики... Но я ничего об этом не рассказываю, я знаю, что уже надоел всем своими воспоминаниями.

Я просто лежу и думаю. На метизе, на тракторном я все-таки пытался что-то узнать. Здесь я даже не пытаюсь. Это бесполезно Я знаю только одно — я здесь был. Может, именно здесь, где мы сейчас лежим, мы делали привал и бегали за тридевять земель испить воды да напоить лошадей. Потом про-

ехали солдаты в машинах с прицепленными к ним пушками и что-то весело нам кричали, а мы только мрачно молчали. Они ехали на фронт, в Калач — там шли бои, — а мы в Сталинград, в поисках своей армии.

Я смотрю на эту большую спокойную воду, на виднеющиеся на той стороне домики, и невольно начинает казаться, что все это так и было, — так органически вошел канал в жизнь, так естественно вписался в окружающий пейзаж. И может быть, именно в этой естественности, в этих обычных берегах и как-будто всегда стоявших на них домиках, может, именно в этом и заключается величие сооружения, соединившего две великие реки и оживившего своими водами растрескавшуюся почву сожженных солнцем и ветрами степей...

К нам подбежал голый, с прилипшими ко лбу белесыми волосенками парнишка и попросил закурить. Его следовало бы отчитать и не дать папиросы, но мы все-таки дали. От непрекращающегося купания он озяб, покрылся гусиной кожей и никак не мог зажечь спичку трясущимися пальцами.

— Разве можно столько купаться, пацан? Ты б погрелся на солнце. Смотри — весь синий.

Он даже не улыбнулся.

— Солнце, — презрительно сказал он. — Знаешь, как оно нам надоело.

— А вода?

— Спрашиваешь... — и, сверкнув пятками, он стрелой помчался, неся за ушами еще две папиросы для своих друзей.

СОДЕРЖАНИЕ

## К ЧИТАТЕЛЯМ!

Военное издательство
просит присылать отзывы
об этой книге по адресу:
Москва, Б-140,
Нижняя Красносельская, 4.
Управление Военного издательства.

Виктор Платонович Некрасов
ВАСЯ КОНАКОВ. М., Воениздат, 1961. 224 с.

Редактор *Ильинская Е. А.*
Художественный редактор *Гречихо Г. В.*
Художник *Белюкин А. И.*
Технический редактор *Красавина А. М.*
Корректор *Орлова Н. И.*

Сдано в набор 26.8.60 г. Подписано к печати 15.12.60.
Формат бумаги 70×92[1]/[32] — 7 печ. л. —
8,19 усл. печ. л. — 8,384 уч.-изд. л. Тираж 115 000.
Г-68180.

Изд. № 12/2548. Зак 2063

Отпечатано с матриц во 2-й типографии Военного издательства
Министерства обороны Союза ССР
Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

*Цена 35 коп.*

Цена 35 коп.